

ИЗ ВСЕХ



ВОЗМОЖНЫХ

ЖИЗНЕЙ

Kazama Daniel

Daniel Kazama

**Из всех возможных
жизней. Kazama Daniel**

«Автор»

2026

Kazama D.

Из всех возможных жизней. Kazama Daniel / D. Kazama —
«Автор», 2026

Фейт Литтл работает интерпретатором в «Мойре». Эта компания продаёт людям их будущее в виде документов: справок, чеков, записей в реестрах. В понедельник Фейт приходит заказное письмо без обратного адреса. Внутри свидетельство о смерти Гленна Саммерса, инженера с минус третьего этажа. Он умрёт через шесть лет. В графе «супруга» стоит её имя. Этого человека она видела один раз: под дождём он придержал ей дверь.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВО	5
Глава 1. Заказное	5
Глава 2. Протокол	11
Глава 3. Минус третий	17
Глава 4. Нарды	22
Глава 5. Три с половиной	28
Глава 6. Голубая папка	35
Глава 7. Сердце	41
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕЕР	48
Глава 8. Красный термос	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Daniel Kazama

Из всех возможных жизней. Kazama Daniel

*Прогноз — не приговор.
Протокол корпорации «Мойра», пункт первый*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВО

*СЛЕД № 31
Веер: СГА-2008. Ветвь: 7-Г.
Тип: актовая запись. Свидетельство о заключении брака.
Саммерс Гленн Артур, 03.02.2008 г. р., и Литтл Фейт Энн,
01.07.2010 г. р.
Дата регистрации: 18.06.2041. Офис клерка округа Солт-Лейк,
штат Юта.
Достоверность: 0,64.*

Глава 1. Заказное

Свидетельство о смерти мужа пришло Фейт заказным письмом в понедельник, и это было бы ещё полбеды, если бы у неё был муж.

До письма был обычный понедельник, и Фейт потом много раз пыталась вспомнить его целиком, как вспоминают день перед аварией. Вспоминалось плохо: ramen, лифт, чей-то зонт в коридоре. Понедельники в «Мойре» были похожи друг на друга, как бланки.

В десять у неё был мистер Хейз — Мартин Хейз, «для своих Марти», как он представился три года назад, и с тех пор ни разу не позволил ей себя так назвать.

Он пришёл, как всегда, на семь минут раньше и, как всегда, в фуражке без кокарды. Тридцать лет он водил самолёты, сначала в Элко и Денвер, потом в Сеул и Франкфурт, и привычка являться к вылету заранее пережила у него и лётную книжку, и половину зубов. Фуражку он снимал в дверях переговорной, держал на коленях и под конец сессии надевал снова, чуть набок, как будто собирался на посадку.

Переговорная 1207 была самой маленькой на этаже. Окно выходило на горы, и в ясные дни люди смотрели на горы, и Фейт ценила это. Хуже всего клиенты слушают, когда смотришь тебе в лицо: они читают тебя и пропускают цифры. Горы цифр не знали, горы стояли себе в снегу, и рядом с ними любой прогноз выглядел немного мельче.

В тот понедельник гор не было. Над городом лежал ноябрьский смог, плотный, жёлтый на просвет, и в окне висел только верхний край чужой башни с погасшей рекламой.

— Ну, — сказал мистер Хейз. — Докладывайте.

Он всегда так говорил. Фейт сначала поправляла его — «я ничего не докладываю, мы обсуждаем», — потом перестала. Пусть докладывают.

Она открыла веер его жены. Сюзан в «Мойру» не ходила, ни разу за два года: у ветвей человека есть владелец, а у владельца есть право не знать. Право знать досталось мужу, который заплатил за обоих. Так бывает чаще, чем кажется, и протокол это допускает с оговорками, которые Фейт знала наизусть и которые никого не спасали.

На экране веер выглядел как полураскрытый японский веер, только сделанный из света: пучок линий, расходящихся от точки «сейчас» вправо, к будущему. Толщина линии — вероятность ветви: толстые сбываются чаще, тонкие — редко. На каждой — крошечные точки сле-

дов: документы, снимки, записи, всё, что Сито сумело выудить из возможного завтра и разложить по полочкам. Достоверность считалась для каждого следа отдельно, даже внутри одной ветви: одну бумагу Сито видело почти ясно, другую — как сквозь мутное стекло. Мыслей Сито не ловило. Счастья тоже. Только бумагу.

Самая толстая линия Сьюзан два года подряд упиралась в одну точку: выписка онкологического центра, март сорок первого года, диагноз, который мистер Хейз ни разу не произнёс вслух. Сегодня линия была тоньше. Фейт видела это ещё в пятницу, когда готовилась, и все выходные думала, как сказать.

— Ветвь с выпиской ослабла, — сказала она. — Была ноль шестьдесят один. Сейчас ноль сорок четыре.

Он кивнул и ничего не сказал.

— Это вероятность, а не приговор, — сказала Фейт. — В обе стороны. Ноль сорок четыре — это меньше половины. Это не ноль.

— Принято.

— Вы что-то меняли? В распорядке, в планах?

Вопрос был по протоколу. Изменения в поведении клиента — главная причина, по которой ветви гнутся, и интерпретатор обязан их фиксировать. Мистер Хейз посмотрел на фуражку.

— Ферму выставили, — сказал он. — В Сантакуине. Покупатель есть, кореец, хороший человек. Деньги переведём в Сеул, там клиника, мне сосед дал контакт. Чтобы, когда начнётся, не бегать.

Фейт помолчала.

Она умела молчать. Этому в университете не учили, этому учили первые три года работы, когда ты говоришь клиенту правильные слова, а он выходит из переговорной и делает ровно противоположное, потому что услышал то, что было между словами. Пауза, потом цифра, потом опять пауза. Человек слышит то, что идёт после паузы. Протокол запрещал интерпретатору советовать. Протокол ничего не говорил о паузах.

— Сьюзан любит эту ферму? — спросила она наконец.

— Абрикосы там, — сказал мистер Хейз. — Сорок деревьев. Сама сажала, когда Эйден родился.

— Вы ей сказали, почему продаёте?

— Сказал — устали ездить.

Фейт опять помолчала, ровно столько, сколько надо. Потом сказала:

— Ноль сорок четыре.

Он поднял на неё глаза. У него были светлые, выцветшие, очень спокойные глаза, глаза человека, который видел, как отказывают оба двигателя, и сажал машину на поле под Омахой. Он смотрел на неё долго, и Фейт знала, что он сейчас читает её лицо, и что она сама разрешила ему это, когда отвернулась от экрана.

— Я подумаю, — сказал он.

Он надел фуражку чуть набок и ушёл, и Фейт потом записала в карточку: «Клиент сообщил о намерении продать недвижимость в связи с прогнозом. Интерпретатор озвучил текущую достоверность. Рекомендации не давались». Всё это было правдой. Рекомендации не давались. Она просто подержала паузу на полсекунды дольше, чем следовало.

* * *

В обед она спустилась в столовую на третьем этаже.

Меню на доске писала мелом девушка с раздачи, к несчастью, с душой: «Souper Soup of the Day», «Yummy Treats». У Фейт в телефоне был список слов, которые она не выносила, и «yummu» стояло в нём третьим. Она взяла рамен и чай без лимона и села спиной к доске.

За соседним столом двое из отдела продаж смеялись над клиентом, который купил полный веер, чтобы узнать, изменит ли ему жена. «Сито не видит, кто кому изменяет, — говорил один. — Сито видит, кто с кем в гостинице зарегистрировался».

Фейт ела рамен и думала, позвонил ли уже мистер Хейз корейцу. Это было не её дело. Её дело кончалось у двери переговорной. Так она себе говорила семь лет, и семь лет это почти работало.

* * *

Уведомление пришло в начале четвёртого, когда она дописывала отчёт: «Вам поступило регистрируемое почтовое отправление. Почтовое отделение на Четвёртой Южной. Срок хранения — 30 дней».

Фейт посмотрела на уведомление и подумала про маму.

Мама писала ей бумажные письма два раза в год, на Новый год и на день рождения, в конвертах с цветочками, и никогда — заказным. Заказным приходило только из налоговой. Фейт мысленно перебрала налоговую: квартиру она снимала, машины у неё не было, налог за вклад списывался сам. Значит, не налоговая. Значит, мама решила, что обычной почте больше доверять нельзя. Это было на маму похоже.

Она закончила отчёт, выключила монитор и надела пальто.

На улице пахло выхлопом и холодным асфальтом, как всегда в ноябре, когда над долиной встаёт инверсия и воздух перестаёт уходить. Смог стоял низко, фонари на Саут-Темпл горели в нём неярко, как сквозь калькированную бумагу. Автобус пришёл почти пустой, и Фейт села у окна и смотрела, как мимо плывут огни, и думала о сорока абрикосовых деревьях, которые она никогда не видела.

В отделении на Четвёртой Южной была очередь из четырёх человек: старушка с пачкой счетов, студент с коробкой, мужчина в рабочем комбинезоне и женщина, которая пыталась отправить в Германию банку мёда. Банку не принимали. Женщина объясняла, что мёд — это не жидкость. Оператор объясняла, что мёд — это жидкость. Студент тихо смеялся в коробку.

Когда подошла её очередь, оператор, не глядя, взяла у неё телефон, отсканировала код, ушла куда-то вглубь и вернулась с конвертом.

Конверт был белый, плотный, длинный, без единой надписи, кроме её адреса, напечатанного на принтере. Обратного адреса не было. В углу — марка с бизоном: бизон, стоящий в траве, бурый на буром, и подпись «USPS». Таких марок давно никто не клеил; все платили через приложение, и на конверт ставился штрихкод. Бизон смотрел с марки куда-то влево, мимо Фейт.

— Отправитель? — спросила она.

— Не указан, — сказала оператор. — Распишитесь.

Фейт расписалась пальцем на экране, неровно, как всегда, и вышла.

* * *

Она жила на Ферн-стрит, в старом пятиэтажном доме без лифта, на последнем этаже. Квартира была маленькая, тёплая и чужая: хозяйка, пожилая учительница музыки, уехала к сыну в Финикс и оставила Фейт пианино, на котором нельзя было играть, и фикус, который нельзя было выбрасывать. Пианино стояло в комнате, фикус — на кухне, и Фейт жила между ними четвёртый год.

На площадке пятого этажа перегорела лампочка, и Фейт открыла дверь на ощупь, включила свет в прихожей и бросила конверт на табуретку, туда, где обычно лежали ключи, а ключи по привычке бросила тоже, сверху.

Она сняла один сапог.

Потом посмотрела на конверт ещё раз, на бизона, который упорно глядел мимо, и второй сапог снимать не стала. Так и стояла, в одном сапоге, на одной ноге почти, держась рукой за вешалку, и почему-то не могла решить, что сначала: снять второй или открыть.

Открыла.

Внутри был один лист. Плотный, чуть сероватый, с едва заметным, если не повернуть к свету, водяным знаком: три концентрических полукруга, как веер или как радуга, и под ними — тонкая надпись «Moiga». Фейт знала эту бумагу. На такой бумаге в «Мойре» печатали следы — для архива, для клиентов, которые просили «на руки», для суда. Бумагу заказывали в Финляндии, каждый лист имел номер, вшитый в волокно, и был на учёте, и выносить такие листы из здания без регистрации было нельзя: за это увольняли и передавали дело в прокуратуру.

В верхней части листа стояла стандартная шапка, которую она видела по двадцать раз на дню:

СЛЕД. Веер: СГА-2008. Ветвь: 7-Г. Тип: актовая запись. Достоверность: 0,52.

Под шапкой — сам документ, воспроизведённый Ситом так, как он будет выглядеть, если будет. Фейт читала такие тысячи раз. Она читала их вслух, медленно, клиентам, которые сидели напротив и сжимали подлокотники. Она знала, как нужно читать: ровно, без нажима, ни одного лишнего удара.

Она прочитала ровно, про себя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ. Фамилия, имя, второе имя: Саммерс Гленн Артур. Дата рождения: 03.02.2008. Дата смерти: 11.03.2046. Место смерти: штат Юта, г. Солт-Лейк-Сити. Причина смерти: внезапная сердечная смерть. Семейное положение: женат. Сведения о супруге: Литтл Фейт Энн, 01.07.2010 г. р.

Дальше шли печать, номер актовой записи и подпись регистратора, неразборчивая, как все подписи регистраторов во всех ветвях всех вееров.

Фейт дочитала до подписи. Потом вернулась на строку выше.

Литтл Фейт Энн, 01.07.2010 г. р.

Это была она. Литтл Фейт Энн в стране, может быть, было несколько, но первого июля десятого года родилась одна, в больнице города Элко, в шесть утра, весом семь фунтов. Мама рассказывала это каждый день рождения. В шесть утра, семь фунтов, и шёл дождь.

Она сняла второй сапог.

* * *

Потом она сидела на кухне, под фикусом, и пила чай, и чай был плохой, пакетированный, из старой коробки, и она выпила его весь.

Лист лежал перед ней на клеёнке. Она не трогала его. Она смотрела на него, как на экран в переговорной: с расстояния вытянутой руки, чуть сверху, как будто это был чужой веер и чужая ветвь.

Так. Давай по порядку.

Первое. Документ подлинный — или очень хорошая подделка. Бумагу подделать нельзя, проще украсть. Шапка правильная, шрифт правильный. Ноль пятьдесят два — бумага видна наполовину, как сквозь мутное стекло. Монетка.

Второе. СГА-2008 — его веер, Саммерса, по инициалам и году. Не её. Здесь она была только графой. Сведениями о супруге.

Третье. Кто-то в «Мойре» открыл чужой веер, нашёл в нём этот след, распечатал на учётной бумаге, вынес из здания, купил где-то марку с бизоном, которую давно никто не продаёт, наклеил, заплатил за заказное и отправил ей. Без обратного адреса.

Четвёртое. Она не знала никакого Саммерса Гленна Артура.

Фейт отпила из пустой чашки, поставила её обратно.

Одиннадцатое марта сорок шестого года. Она посчитала, не желая считать. Ей будет тридцать пять. Ему — тридцать восемь. От сегодняшнего дня — шесть лет и четыре месяца без трёх дней. Она поймала себя на том, что считает, как считают клиенты, — сначала годы, потом месяцы, потом дни, и всегда, всегда в конце эти «без трёх дней», как будто три дня что-то решают. Клиенты всегда считали. Она всегда просила их не считать.

Женат. Значит, где-то между сегодняшним вечером и мартом сорок шестого она выйдет замуж за человека, которого не знает. Или не выйдет. Ноль пятьдесят два.

В детстве Фейт, когда болела, придумывала себе будущих мужей. Это было лучше, чем считать трещины на потолке. Был лётчик. Был ветеринар со своей клиникой. Был один, на которого она никак не могла придумать профессию, но у него были тёплые руки и он умел свистеть в два пальца. Ни одного из них не звали Гленном. Ни один из них не умирал.

Она подумала: шутка. Кто-то шутит. Но шутить на учётной бумаге — это всё равно что шутить, переводя через границу чемодан героина. Таких шутников она не знала.

Она подумала: проверка. В «Мойре» ходили слухи, что этическая служба иногда подбрасывает сотрудникам «утечки», чтобы посмотреть, кто сообщит, а кто нет. Слухи ходили всегда и про всё. Её начальник, доктор Лео Брандт, руководитель службы интерпретации, на вопрос о проверках поправлял очки, которых не носил уже лет десять, и говорил: «Дружок, если бы мы проверяли всех, кому есть что скрывать, у нас бы не осталось сотрудников». Это не было ни да, ни нет. У доктора Брандта ничего не было ни да, ни нет.

Она подумала: Тайлер, её первая любовь, мальчик с машиной, которого у неё когда-то отняли. Это было глупо. Тайлер жил в Портленде, у него было двое детей, и последний раз Фейт видела его фотографию лет пять назад, случайно, у общей знакомой: Тайлер на набережной, с бородой, с коляской. Тайлер не стал бы.

Она подумала: мама. И сразу перестала думать — у неё похолодели пальцы, хотя мысль была совершенно невозможна. Мама не могла получить доступ к чужому вееру. Мама не могла получить доступ даже к собственной пенсии без звонка Фейт. Мама двенадцать лет назад продала бабушкин дом, чтобы купить один-единственный прогноз, и больше у мамы не было ни домов, ни прогнозов.

Фейт взяла лист за угол и перевернула; оборот был чистый, только номер в волокне, если посмотреть на просвет, и водяной веер.

* * *

В девять десять зазвонил телефон.

Фейт знала, кто это, не глядя: мама звонила каждый вечер ровно в девять десять, минута в минуту, и на вопрос «почему» отвечала: «В девять ты ещё ужинаешь». Фейт давно не ужинала в девять. Мама давно не спрашивала.

Она посмотрела на экран. «Мама». Посмотрела на лист.

Телефон звонил долго, потом замолчал, потом пришло сообщение: «Фейти ты где? Перезвони как сможешь. Ты поела, солнышко?»

Фейт закрыла глаза. «Солнышко» в списке не было. Его надо было бы внести, но она не вносила из жалости к маме, что было, конечно, нечестно по отношению к списку.

Она написала: «Всё хорошо, устала, завтра позвоню». И сразу пожалела о «всё хорошо», потому что это была ложь, а ложь маме всегда выходила у неё слишком гладко.

* * *

Около одиннадцати она сдалась.

Она знала, что не должна этого делать. Справочник сотрудников «Мойры» был доступен из дома, через ключ, и каждый запрос в нём, как и любое движение во внутренней сети, оставлял запись. Кто, когда, что искал. Записи хранились семь лет. Если письмо было проверкой, то этот запрос и будет ответом: она не сообщила, она полезла выяснять сама. Если письмо было не проверкой — тогда тем более.

Она открыла ноутбук на кухонном столе, рядом с листом. Вставила ключ. Ввела пароль. Подумала. Набрала в строке поиска: «Саммерс».

Часы в углу экрана показывали 23:12.

Результат был один.

Саммерс Гленн Артур. Ведущий инженер. Отдел калибровки. Уровень –3. Внутренний номер 3-114.

И фотография.

Фотографии в справочнике делали в первый рабочий день, при оформлении пропуска, на фоне серой стены, и все на них выглядели немного арестованными. Этот тоже. Светлые волосы, коротко стриженные, ранняя седина на висках. Уши слегка торчат. Воротник рубашки замялся с одной стороны, и никто ему не сказал. Небольшой шрам на подбородке, белая чёрточка, какие бывают с детства, после велосипеда или забора. Обычное лицо. Такие лица она видела в лифте каждый день и не запоминала.

Отдел калибровки. Минус третий уровень. Колодец, как его называли в «Мойре». Туда ходил отдельный лифт, по отдельному пропуску, и люди из колодца поднимались наверх только в столовую и на общие собрания, где сидели всегда отдельно, всегда сзади, и всегда уходили первыми. Фейт за семь лет была внизу один раз, на экскурсии для новичков, и запомнила только холод, гул и то, что там нельзя было пользоваться телефоном.

Она не знала этого человека.

Она увеличила снимок, сама не зная зачем. Шрам на подбородке. Седина. Карие глаза, кажется, хотя на этой серой фотографии ничего нельзя было сказать наверняка. Замятый воротник.

И вспомнила.

Сентябрь. Дождь, первый осенний, холодный, такой, что за минуту промокаешь насквозь. Фейт бежала от остановки к башне без зонта, прикрыв голову папкой, и у бокового входа, где в тот день сломалась вращающаяся дверь, кто-то стоял и держал для неё тяжёлую стеклянную створку. Держал долго, пока она добегала по лужам. Сам он стоял под дождём. Зонт у него был — сложенный, под мышкой. Она ещё подумала тогда, мельком, на бегу: странный, есть зонт, а он мокнет.

Она проскочила мимо него в сухое тепло вестибюля, обернулась, мокрая, с папкой на голове, и увидела светлые волосы, потемневшие от воды, и белую чёрточку на подбородке.

Она сказала ему «спасибо». Больше они не разговаривали ни разу.

Глава 2. Протокол

Утром она спрятала лист в пианино.

Это было глупо, и она понимала, что это глупо, ещё когда поднимала тяжёлую крышку и просовывала руку между холодными струнами. Пианино хозяйки не открывали лет десять: внутри пахло пылью, войлоком и чем-то сладковатым, похожим на старые конфеты. Лист лёг на деревянную планку под струнами, ровно, как в конверт. Фейт опустила крышку, и одна из струн тихо загудела, сама по себе, от сквозняка.

Если к ней придут с обыском, подумала она, они найдут его за четыре секунды. Но к ней никто не придёт с обыском. К ней придут — если придут — с вежливым письмом из этической службы и приглашением на беседу. И тогда пианино будет ни при чём.

Она оделась, выпила кофе стоя, вышла.

* * *

В «Мойре» был протокол на всё, и на утечки тоже. Четырнадцатый пункт. Фейт знала его наизусть, как знала все пункты, потому что каждый год сдавала по ним аттестацию и каждый год получала «отлично». Сотрудник, получивший сведения из чужого или собственного веера вне установленного порядка, обязан в течение семидесяти двух часов сообщить об этом в этическую службу. Сообщение подаётся через внутреннюю систему, кнопка «Сообщить об инциденте». Документ изымается. С сотрудником проводится беседа. Сотруднику предлагается процедура избирательной деконсолидации памяти — в целях прогностической гигиены.

Предлагается. Не назначается.

Но все знали, что значит «предлагается», когда речь идёт об интерпретаторе. Интерпретатор, который знает кусок собственного будущего, — это интерпретатор, который каждый день сидит напротив клиентов и смотрит на их ветви, думая о своей. Это плохой интерпретатор. Его отстраняют от сессий «до прохождения процедуры». А процедура — вот она, на минус первом, в белом коридоре, по записи, без очереди.

Сотрудники называли её Летой. Официально — избирательная деконсолидация. Неофициально — Лета, и никто уже не помнил, кто первым так пошутил.

Фейт знала двоих, кто прошёл. Джейн из соседнего отдела три года назад получила по ошибке распечатку следа своей сестры, неприятного следа, и через неделю вернулась с Леты отдохнувшая, спокойная, как после отпуска. «Только загар не тот», — сказала она тогда в курилке и засмеялась, и Фейт тоже засмеялась, а потом весь день думала: Джейн не помнит, что было в той распечатке, но помнит, что что-то было. Помнит, что выбрала забыть. Как это — носить в себе дырку и знать её форму?

Второй был инженер, имени она не знала. Говорили, что он после процедуры уволился.

Утром во вторник Фейт открыла внутреннюю систему и посмотрела на кнопку.

Кнопка была красная, в правом верхнем углу, рядом с колокольчиком уведомлений. Она была там всегда, семь лет, и Фейт ни разу не обращала на неё внимания, как не обращают внимания на огнетушитель в коридоре. Теперь она смотрела на неё долго, а потом закрыла систему и открыла журнал бланков.

* * *

Журнал бланков был скучнейшей вещью в мире. Каждый лист финской бумаги имел номер, каждый номер был записан в журнале: кому выдан, когда, под какую сессию, когда рас-

печатан, когда передан клиенту или уничтожен. Интерпретаторы печатали следы для клиентов, которые просили «на руки», и каждый раз расписывались в журнале, и каждый раз ругались, потому что журнал зависал.

Номер своего листа Фейт записала накануне на бумажке, посмотрев на просвет: 17-K-04418. Бумажку она сожгла над раковиной, а номер запомнила, потому что цифры она запоминала хорошо, хуже — лица.

Журнал подумал и выдал:

Партия 17-K. Выдана: отдел калибровки, уровень — 3. Назначение: тестовая печать. Лист 04418: статус — уничтожен (акт № 1103 от 11.10.2039).

Уничтожен. Лист, который лежал сейчас в пианино на Ферн-стрит, на деревянной планке под струнами, месяц назад был уничтожен по акту номер тысяча сто три.

Фейт закрыла журнал.

Значит, колодец. Значит, кто-то из калибровки распечатал этот след на тестовом листе, оформил лист как испорченный и вынес. Калибровщики делали тестовую печать постоянно, десятками листов в день: сверяли цвета, шрифты, проверяли, правильно ли Сито раскладывает документы по шаблонам. Испорченные листы шли в шредер по акту. Кто проверяет, что лист действительно попал в шредер?

В калибровке работало человек сорок. Одного из них звали Гленн Саммерс.

Она подумала: зачем человеку посылать незнакомой женщине своё собственное свидетельство о смерти? Это была бессмыслица. Человек, который узнал бы такое о себе, не стал бы рассылать это по почте. Он бы пошёл к врачу. Или запил. Или пошёл на Лету. Или сидел бы сейчас у себя в колодце и смотрел в стену. Но не стал бы покупать марку с бизоном.

Значит, не он. Значит, кто-то, кто видел его веер. Кто-то из сорока.

Она поймала себя на том, что ей от этого вывода легче, и не поняла почему.

* * *

В одиннадцать была планёрка.

Доктор Брандт проводил планёрки в своём кабинете, потому что, как он говорил, в переговорной люди переговариваются, а у него в кабинете думают. Кабинет был угловой, с двумя окнами: в одном горы, в другом город. Сегодня в обоих окнах был смог. Доктор Брандт сидел за столом, вертел в пальцах электронную трубку, которую ему запретили курить в здании и которую он поэтому не курил, а только вертел.

Ему было шестьдесят три. Он пришёл в «Мойру» из психиатрии, в первые годы, когда Сито ещё было лабораторией и никто не знал, как говорить людям о том, что оно находит. Он придумал половину протокола. Вторую половину, как он сам говорил, придумали юристы, «и поэтому она работает».

Обсуждали тяжёлый случай: молодая женщина, ветвь с суицидальной записью, достоверность ноль тридцать. Говорить или нет. Как говорить. Кто будет говорить. Фейт слушала, кивала, записывала. Мысли её были на минус третьем уровне.

— Ещё одно, — сказал доктор Брандт в конце, когда все уже закрывали блокноты. — Коллеги из этической службы просили напомнить про четырнадцатый пункт. В этом квартале было две утечки. Обе, к счастью, сообщённые.

Он поправил очки. Очков на нём не было лет десять, с операции на глазах, но рука осталась и поднималась к переносице каждый раз, когда он собирался сказать что-то всерьёз.

— Утечки бывают, дружок, — сказал он, обращаясь ни к кому и ко всем. — Сито — большая дырявая штука, и иногда из неё течёт. Самое опасное в утечке — не то, что человек узнал. Узнать — полбеды. Беда в том, что он начинает с этим делать.

Он посмотрел на неё. Или Фейт показалось, что на неё. Она сидела ближе всех к двери, и он мог просто смотреть на дверь.

Она уверена была, что он смотрел на неё. Она всегда была уверена, что знает, что о ней думают люди: это было её ремеслом. Клиенты сидели напротив, и она читала их лица, как ветви, — вот это он подумал, а это хотел сказать, а это скрыл. Чаще всего она угадывала. Иногда ошибалась так, что потом неделю не могла смотреть людям в глаза. Но привычка не уходила. Она и сейчас знала совершенно точно, что доктор Брандт всё знает, хотя знать он ничего не мог.

— Мисс Литтл, у вас что-то? — спросил он.

— Нет, — сказала Фейт. — Ничего.

* * *

В среду она его увидела.

Она не искала. Она пришла в столовую в половине первого, как всегда, взяла суп, хлеб и чай без лимона, повернулась с подносом к залу и увидела колодец.

Инженеры калибровки сидели за дальним столом у стены, там, где не было окон, человек шесть, все в одинаковых серых толстовках с маленьким веером на груди, и ели молча и быстро, как едят люди, которым надо вернуться к машине, пока она не остыла. Один из них читал бумажную книгу, держа её одной рукой, а другой ел суп.

Он ел суп очень аккуратно. Это было первое, что Фейт заметила. Он сидел прямо и подносил ложку ко рту ровно, медленно, и ни одна капля не падала. Так едят люди, которых в детстве долго учили есть, или люди, которые всё делают так, будто их кто-то проверяет.

Он был высокий, это было видно даже сидя, и сутулился над книгой: светлые волосы, седины на висках, как на фотографии, а шрама на подбородке отсюда видно не было.

Фейт села за стол у окна, лицом к залу. Обычно она садилась спиной к залу, чтобы не видеть доски с меню, но сегодня доска её не интересовала. «Soupier Soup», — было написано на доске. «Yummy Lemonade».

Он не поднимал головы. Он ел суп и читал книгу, перелистывая страницы большим пальцем той же руки, в которой держал книгу. Рядом с ним двое других инженеров спорили о чём-то, рисуя пальцами в воздухе, а он не участвовал, только один раз что-то коротко сказал, и оба замолчали и посмотрели на него, и один кивнул.

Фейт ела суп и смотрела.

Шесть лет и четыре месяца, подумала она. Он не знает. Он сидит, ест суп и читает книгу, и не знает. А я знаю. Я знаю про него то, чего он про себя не знает, и он даже не знает, что я существую.

Это было неправдой: он держал ей дверь. Двери, впрочем, держат всем.

Он доел, закрыл книгу, встал, отнёс поднос. Проходя мимо доски с меню, он на секунду остановился и посмотрел на неё — на «Yummy Treats», как ей показалось, — и пошёл дальше, к лифтам. Отдельным лифтам, в конце коридора, у которых нужно прикладывать пропуск.

Он ни разу не посмотрел в её сторону.

Фейт поняла, что обиделась, и разозлилась на себя за это так, что не допила чай.

* * *

В четверг вечером она встретила с Даной.

Они дружили с первого курса, с того дня, когда в общежитии на кампусе у Фейт украли сапоги, а Дана, которую она тогда видела второй раз в жизни, отдала ей свои кроссовки и пошла в ноябре на занятия в шлёпанцах, потому что «у меня кровообращение, мне не холодно». Дана

была на подготовительном медицинском, Фейт на психологии, жили они в разных корпусах и виделись потом не чаще раза в месяц, но этот раз в месяц не пропускали двенадцать лет.

Дана работала анестезиологом-реаниматологом в окружной больнице. Она была маленькая, громкая, стриженная почти под ноль, и курила, хотя каждый день видела, что бывает с курильщиками на столе. «Я видела, что бывает и с некурящими», — говорила она.

Встречались они всегда в одном месте, в пивной на Мейн-стрит, полуподвальной, с кирпичными стенами и телевизором, на котором без звука показывали хоккей. Дана пришла на сорок минут позже, извинилась, сказала: «Было двое, один ушёл», — и Фейт не стала спрашивать куда. Дана села, достала из кармана куртки мандарин и положила на стол.

Мандарин у Даны был всегда. В любое время года. Фейт ни разу не видела, чтобы она его ела. Он просто лежал на столе, как телефон или ключи, а потом исчезал обратно в карман. Однажды Фейт спросила, Дана пожала плечами: «Ну а вдруг».

— Как суд? — спросила Фейт.

— Перенесли. Его адвокат принёс справку, что у меня суточные дежурства и я «физически не могу обеспечить ребёнку стабильную среду». — Дана отпила пива. — Я ему сказала: я каждые сутки обеспечиваю стабильную среду четырём людям на аппарате ИВЛ, а ты у себя в бухгалтерии кактус поливаешь. Судья засмеялся. Это хорошо или плохо?

— Не знаю. Наверное, хорошо.

— Ты всегда говоришь «наверное», когда не знаешь.

— Все так говорят.

— Не все. Я говорю «не знаю». — Дана посмотрела на неё. — Что случилось?

Фейт подумала, сколько можно сказать. Протокол запрещал рассказывать посторонним о содержании следов — любых следов, своих и чужих. Протокол, впрочем, через час будет нарушен и так: семьдесят два часа истекали. В шесть вечера в понедельник она получила письмо, в шесть вечера в четверг она перестала быть сотрудником, который ещё может честно нажать красную кнопку. Сейчас было без пяти пять.

— Знакомому пришёл прогноз, — сказала она. — Неофициально. Внезапная сердечная смерть. Через шесть лет.

— Сколько ему?

— Тридцать один. Будет тридцать восемь.

Дана перестала улыбаться. Она умела переключаться мгновенно: только что сидела, развалившись, с пивом, — и вот уже сидит прямо, и лицо у неё деловое, как бывает над чужой грудной клеткой.

— Слушай сюда, — сказала она. — Внезапная сердечная до сорока лет — это почти всегда что-то врождённое. Кардиомиопатия. Удлиненный QT. Синдром Бругада. Ещё пара экзотик. Это не инфаркт от бургеров, это проводка. Многое ловится. ЭКГ, эхо, холтер, если надо — генетика. Не всё ловится, но многое.

— А если поймали — то что?

— Таблетки. Иногда — кардиовертер, такая коробочка под кожу. Если сердце встанет, коробочка его толкнёт. Люди с ними живут до старости и ругаются на рамки в аэропортах.

— А если не поймали?

Дана помолчала.

— Внезапная — это когда никто не успел, — сказала она. — Вот и всё определение. Не «неизбежная». Внезапная. Когда рядом никого или рядом кто-то, кто не знает, что делать. Значит, надо успеть. У него в семье кто-нибудь так умер?

— Не знаю.

— Узнай. Это первый вопрос, который задаст любой кардиолог. Отец, дед, дядя, кто-нибудь, кто «просто упал» до пятидесяти.

Фейт кивнула. Хоккеисты на экране без звука подрались, их растащили. Дана смотрела на неё, не отрываясь.

— Знакомому, — сказала Дана.

— Знакомому.

— Ты покраснела.

— Здесь жарко.

— Здесь подвал, Фейт. Здесь всегда минус два. — Дана откинулась на спинку стула и улыбнулась осторожно, одними губами. — Ладно. Не хочешь — не говори. Только если этот знакомый — это кто-то, кто тебе нравится, то ты сейчас сидишь и знаешь, когда он умрёт. А это плохая основа для отношений. Я тебе как врач говорю.

— Мне никто не нравится.

— Это я тоже как врач слышу. Ладно. Я пойду покурю.

Дана сказала, что пойдёт покурить, и пошла покурить. Мандарин остался на столе. Фейт смотрела на него, рыжий, неровный, с зелёным листиком на черенке, и думала, что листик — это странно для ноября; мандарин, должно быть, из теплицы, калифорнийские в ноябре без листиков. Потом подумала, что думать сейчас о листиках у мандарина — это и есть то, о чём предупреждал доктор Брандт: человек узнал и начинает с этим делать. Например, смотреть на мандарины.

Дана курила долго. На часах над стойкой было шесть. Семьдесят два часа истекли, и ничего не случилось: хоккей продолжался, бармен протирает кружку.

Фейт допила пиво.

* * *

В пятницу утром она всё-таки открыла форму.

Только посмотреть: ей казалось важным посмотреть, что именно она не делает.

Форма называлась «Сообщение об инциденте прогностической безопасности». Шесть полей. «Дата получения сведений». «Способ получения сведений». «Источник (если известен)». «Краткое содержание». «Лица, упомянутые в сведениях». «Предпринятые действия».

Она смотрела на пятое поле дольше всего.

Лица, упомянутые в сведениях. Саммерс Гленн Артур. Если она напишет здесь его имя, этическая служба будет обязана — тоже по протоколу, по пункту семнадцатому, — уведомить упомянутое лицо, «если сведения затрагивают его жизненно важные интересы». Свидетельство о смерти затрагивало жизненно важные интересы. Его вызовут наверх, в белый кабинет на двадцать восьмом, и вежливая женщина из этической службы, может быть Эйвери, может быть Сара Мур, положит перед ним распечатку и скажет: «Мистер Саммерс, к сожалению, мы обязаны вас проинформировать». И он будет сидеть и смотреть на лист, как Фейт смотрела на него в прихожей в одном сапоге.

И это сделает она. Не тот, кто отправил. Она.

Протокол «Мойры», пункт третий: не раскрывать информацию, способную причинить тяжёлый психологический вред, без достаточных оснований.

Четырнадцатый пункт требовал сообщить. Третий запрещал вредить. Пункты противоречили друг другу, и так было всегда, на каждой сессии, с каждым клиентом. Доктор Брандт говорил на семинарах для новичков: «Протокол — это не алгоритм, дружок. Протокол — это список того, о чём вы обязаны подумать, прежде чем сделать глупость». Фейт подумала. Обо всём, о чём была обязана.

Она закрыла форму, не сохранив.

Потом открыла схему здания.

Минус третий уровень на схеме был серым прямоугольником без подробностей, с подписью «Технический уровень. Доступ ограничен». Лифт на минус третий — отдельный, в конце коридора на третьем этаже, по пропуску категории «Т». У Фейт была категория «И». Интерпретаторы спускались в колодезь только по заявке, только в сопровождении и только если была техническая причина: аномалия в следе клиента, подозрение на сбой калибровки, расхождение данных.

У неё была аномалия.

Ветвь Сьюзан за неделю потеряла семнадцать сотых достоверности: ноль шестьдесят один — ноль сорок четыре. Так быстро ветви не худеют, если ничего не происходит. А мистер Хейз клялся, что ничего не происходило, кроме фермы, а ферма была пока только намерением. Значит, либо клиент что-то скрывал, либо Сито ошибалось. Если Сито ошибалось, это было делом калибровки.

Это была настоящая причина. Фейт даже собиралась подать эту заявку, ещё до письма, в пятницу на прошлой неделе, и не подала только потому, что не хотелось возиться с формой.

Она открыла форму заявки в калибровку. Заполнила: веер клиента, номер ветви, характер аномалии, даты. Время визита: понедельник, двадцать первое ноября, десять ноль-ноль. В поле «Предпочтительный инженер» по умолчанию стояло «Любой свободный».

Фейт посмотрела на это поле.

Потом удалила «Любой свободный» и напечатала, медленно, по одной букве, как будто кто-то стоял за плечом: «Саммерс Г. А.»

Курсор мигал после точки. Она смотрела на инициалы и думала, что вот теперь, в эту самую секунду, где-то в Сите, в веере СГА-2008, что-то, наверное, сдвинулось. Чуть-чуть. На сотую. Так говорили инженеры: каждый поступок, связанный с прогнозом, раскачивает веер. Она ведь сейчас поступала в связи с прогнозом.

Она нажала «Отправить».

Система подумала секунду и ответила: «Заявка принята. Инженер уведомлён».

Глава 3. Минус третий

В понедельник она сначала надела серое платье, потом сняла его и надела то, в чём ходила всегда, — чёрные брюки и свитер с высоким горлом. Серое платье было лучше. Но серое платье в понедельник утром означало, что она что-то решила про этот понедельник, а она ничего не решала. Она шла по заявке. Аномалия в ветви клиента. Десять ноль-ноль.

Свитер колот шею. Она решила, что это наказание за платье, которое она не надела, и что это справедливо.

Лифт на минус третий был в конце коридора на третьем этаже, за столовой, за дверью с табличкой «Технический персонал». Фейт пришла без двух минут десять, и перед дверью лифта никого не было; она постояла, посмотрела на кнопку вызова, которую нельзя было нажать без пропуска категории «Т», и почувствовала себя школьницей, которую вызвали к директору и забыли.

В десять ноль-ноль лифт пришёл снизу, сам. Двери разъехались.

Он стоял внутри, держа руку на краю двери, чтобы она не закрылась.

— Мисс Литтл? — сказал он. — Саммерс. Поехали вниз.

Он был выше, чем казался в столовой, и сутулился, как сутулятся высокие люди, которые всю жизнь стараются не задевать головой притолоки. Серая толстовка с маленьким веером на груди, под ней — рубашка, воротник опять неровный. Седина на висках вблизи оказалась обычной сединой, как у сорокалетних. Ему был тридцать один год. Она знала это так же точно, как дату его смерти, и от этого знания ей было неловко стоять рядом, как будто она подглядела в его паспорт.

Она вошла, он убрал руку, и двери закрылись.

— Сорок секунд, — сказал он. — Уши заложит. Можно глотать.

— Спасибо.

— Это не я придумал. Это физика.

Лифт пошёл вниз, плавно и долго. Фейт смотрела на табло, где цифры сменялись медленно, как в старом кинотеатре: 2, 1, 0, –1. На минус первом была Лета — она подумала об этом мельком и сразу заставила себя не думать. Уши действительно заложило, и она сглотнула, а он стоял рядом, смотрел на двери и, кажется, тоже сглотнул, хотя ему было уже всё равно, сорок раз на дню.

Минус два. Минус три.

— Телефон, — сказал он, когда двери открылись.

В маленьком тамбуре перед вторыми дверями стоял металлический ящик с ячейками, как в камере хранения. Он открыл одну, она положила туда телефон, он закрыл и дал ей пластиковый жетон с номером 14. Своего телефона он не клал. Она посмотрела на него.

— Я свой не ношу, — сказал он. — Внизу смысла нет, а наверх я редко.

— А если вам позвонят?

— Мне не звонят.

Он сказал это просто, без жалобы, как говорят «у меня нет машины», и открыл вторую дверь.

* * *

Колодец оказался не колодцем.

В тот единственный раз, на экскурсии для новичков, Фейт запомнила холод и гул и больше ничего — их провели по галерее, показали через стекло, рассказали про охлаждение и отвели обратно наверх. Теперь её повели мимо галереи, внутрь.

Это был зал, огромный, высотой этажа в три, круглый, с бетонными стенами, выкрашенными в серо-голубой. Посередине, за двойным стеклом, стояло то, что инженеры называли чашей: серебристый цилиндр шириной в автобус, облепленный трубками и кабелями, как дерево лианами. Сама чаша не двигалась и не светилась. Гудели насосы где-то под полом, и гул шёл через подошвы. Было холодно — сухо и ровно, как в серверной или в морге, и Фейт пожалела, что сняла серое платье, хотя платье было бы ещё холоднее.

Вдоль стен, по кругу, стояли рабочие места, десятка четыре, с мониторами, лампами и кружками, и люди в серых толстовках сидели за ними, не поднимая голов: кто-то в наушниках, кто-то ел яблоко. Было очень тихо, если не считать гула, и Фейт поняла, почему инженеры в столовой молчали: они просто не привыкли разговаривать.

— Сюда, — сказал он.

Его стол был у дальней стены, под табличкой «К-4». Два монитора, настольная лампа на гибкой ножке, старый калькулятор семидесятых с красными цифрами и надписью «Texas Instruments» на корпусе — Фейт видела такой у бабушки, бабушка считала на нём счета за электричество. Бумажная книга, та самая, из столовой, корешком вверх: «Люция залива Аляска». И два игральные кубика, жёлтых, старых, с чуть стёртыми точками.

Он сел, придвинул ей второй стул.

— Показывайте, — сказал он.

Она назвала веер. Он набрал его, не глядя на клавиатуру. Веер Сьюзан раскрылся на левом мониторе — тот же самый, что Фейт видела наверху, но другой: здесь он был шершавым, с цифрами на каждой линии, с мелкими пометками, со столбиками, которые ползли вдоль ветвей, как термометры.

— Наверху вы видите витрину, — сказал он. — Тут склад.

Она кивнула, стараясь не показать, что ничего не понимает.

— Вот ваша аномалия.

Он показал пальцем — не касаясь экрана, держа палец в полудюйме от стекла. Ветвь с выпиской онкоцентра, та самая, толстая. На ней — столбик, который за неделю пополз вниз.

— Ноль шестьдесят один, ноль сорок четыре, — сказала Фейт. — За неделю. Клиент говорит, что ничего не менял. Я подумала: может, сбой.

— Может, — сказал он. — Сейчас посмотрим.

Он открыл что-то справа, на втором мониторе. Там побежали строки, как в старых фильмах про хакеров, только медленнее. Он смотрел на них, подперев подбородок кулаком, и в какой-то момент, не отрывая взгляда от экрана, взял со стола один кубик и начал катать его между пальцами. Кубик ходил от указательного к безымянному и обратно, ровно, без остановки. Фейт смотрела на кубик.

— Отцовские, — сказал он, не поворачиваясь. — Нарды. Доска дома, а кубики я с собой ношу. Не знаю зачем.

— Я не спрашивала.

— Вы смотрели.

Она перестала смотреть на кубик и стала смотреть на экран. Строки бежали.

— Вы когда-нибудь получали письма без обратного адреса? — спросила она.

Она не собиралась спрашивать так. Она собиралась подвести издали, спросить сначала про тестовую печать, потом про то, кто ещё работает с чужими веерами, потом, может быть, про утечки вообще. Она даже продумала, как будет смотреть на его лицо, когда спросит про утечки: интерпретаторы умеют видеть, как человек готовит ответ. Вместо этого она спросила про письма, прямо, в лоб, и сама удивилась.

Он не перестал катать кубик.

— Повестки в суд присяжных, — сказал он. — Там тоже без обратного. Только штамп.

— А ещё?

— Больше нет. — Он посмотрел на неё. — А вы?

— Нет, — сказала Фейт.

Она умела врать спокойно, это было частью профессии: клиенту, который спрашивает «а вы бы на моём месте что сделали», нельзя говорить правду, потому что правда — это совет. Она сказала «нет» ровно, без паузы, и сразу поняла, что сказала слишком быстро. Он, кажется, тоже понял. А может быть, нет. Его лицо ничего ей не говорило.

Это было непривычно. Фейт семь лет читала лица. Она знала, как дёргается угол рта у человека, который сейчас сойдёт, знала, куда смотрят те, кто вспоминает, и куда — те, кто придумывает, знала, как меняется дыхание у того, кто услышал про свою ветвь больше, чем хотел. А тут было лицо, и она смотрела на него, и ничего не видела. Как будто зашла в комнату, где кто-то выключил звук: всё на месте, все шевелят губами, а слов нет.

Он вернулся к экрану.

— Тестовые листы, — сказала она. — Куда они идут? После печати.

— В шредер. По акту.

— Все?

— По идее — все.

— А на самом деле?

Он помолчал. Кубик остановился.

— На самом деле, — сказал он, — у нас сорок человек и один шредер. Он стоит вон там, у двери. Видите, синий. Шредер ломается раз в неделю. Тогда листы складывают в коробку рядом и ждут, пока придёт техник. Коробка не запирается. Акт пишется по числу листов, а не по факту уничтожения. — Он посмотрел на неё. — Я писал служебку. Два раза. Мне сказали, что это вопрос бюджета.

Фейт посмотрела на синий шредер у двери, рядом с которым стояла картонная коробка из-под бумаги, пустая или нет — отсюда было не видно.

— А что, — спросил он, — какой-то лист потерялся?

— Нет. Просто интересно.

Он кивнул, как будто это был нормальный ответ, и снова взял кубик.

* * *

Строки на правом мониторе остановились. Он наклонился ближе, потом откинулся, потом опять наклонился.

— Не сбой, — сказал он.

— А что?

— Ваш клиент что-то сделал. Или собирается сделать. — Он показал на ветвь, снова держа палец над стеклом. — Смотрите. Ветвь похудела в начале месяца, вот здесь, когда в ней появился договор купли-продажи участка в Сантакуине. Подписанный. Он решил продавать — и выписка поползла вниз. А вот здесь, в прошлый вторник, у ветви появился сосед. Тоненький. Видите? Ноль ноль девять. В нём тот же договор. Расторгнутый. Через три дня после подписания.

— Расторгнутый?

— Аннулированный по взаимному согласию. — Он прищурился на мелкий шрифт. — Покупатель — Ким Ен Хо. Это ваш клиент продаёт?

— Ферму, — сказала Фейт. — Да.

— Ну вот. А в ветви, где он её не продаёт, — он провёл пальцем по воздуху от тонкой линии к толстой, — выписка размывается. Видите, края? Как будто сфотографировали через запотевшее стекло.

— Это значит, что если он не продаст ферму, у неё не будет рака?

Она сказала «рак» и сама испугалась слова. Мистер Хейз его никогда не произносил. Фейт тоже никогда не произносила — на сессиях, — и теперь оно стояло в холодном воздухе колодца, как пар изо рта.

— Это ничего не значит, — сказал он. — Сито не знает, почему. Сито знает, что вместе. Где нет договора, там хуже видно выписку. Может, потому что у них будет другая жизнь, и в этой другой жизни будет другой врач, который найдёт раньше. Может, потому что в той жизни она вообще не пойдёт обследоваться. Может, это просто шум. Корреляция, а не причина. — Он посмотрел на неё. — Это ведь вам объясняют. На курсах.

— Объясняют.

— Ну вот.

Он что-то записал в окно заявки. Фейт смотрела на тонкую линию с договором. Ноль ноль девять. Значит, мистер Хейз ещё не отказал корейцу, но собирается. Значит, во вторник, на следующий день после её паузы, после её «ноль сорок четыре», он сидел на кухне в своей квартире в Холладэе и думал. И ветвь качнулась. Из-за паузы. Из-за полсекунды.

Ей стало нехорошо. Чувства вины не было, она не советовала; нехорошо было от того, как ясно это было видно здесь, на складе, где не было витрины.

— Вам холодно, — сказал он.

— Нет.

— У вас руки синие.

Она посмотрела на свои руки: они действительно были синеватые, с белыми ногтями, у неё всегда мёрзли руки. Мама говорила — плохое кровообращение, в отца. Отца Фейт не помнила.

Он встал, ушёл куда-то за соседний стол и вернулся с толстым серым флисовым пледом, таким же серым, как толстовки, с маленьким веером в углу.

— Тут у всех такие, — сказал он. — Корпоративные. Берите.

— Я на десять минут.

— Вы уже двадцать пять.

Она взяла плед и накинула на плечи. Плед пах чужим стиральным порошком и немного — машинным маслом. Ей стало тепло, почти сразу, и от этого тепла захотелось спать, прямо тут, на стуле, под гул насосов. Она подумала о том, сколько людей до неё сидели под этим пледом, и что надо было бы его постирать. Потом подумала о бабушкином калькуляторе, на котором бабушка считала счета, и о том, что бабушкин дом продали.

— Вам здесь нравится? — спросила она.

Он подумал.

— Тут тихо, — сказал он. — Наверху все разговаривают.

— А вы не любите разговаривать?

— Я не умею. — Он взял кубик, повертел, положил. — Тут не надо уметь. Тут надо, чтобы цифры сходились.

— А если не сходятся?

— Тогда ищешь, где ошибся. Обычно сам.

Она хотела спросить, почему «Лочия залива Аляска». Она хотела спросить, есть ли у него кто-нибудь, кто ждёт его вечером, и что он ест, и почему у него воротник всегда кривой, и знает ли он, что такое синдром Бругада, и умирал ли у него в семье кто-нибудь, кто «просто упал» до пятидесяти. Она хотела спросить, почему он держал ей дверь в дождь, имея под мышкой зонт. Она ничего этого не спросила.

— Я напишу заключение, — сказал он. — Не сбой. Поведенческий фактор клиента. Вам придёт к вечеру.

— Спасибо.

— Это не я. Это ваш клиент.

* * *

Он проводил её до лифта. В тамбуре он открыл ячейку номер четырнадцать, отдал ей телефон, забрал жетон. Телефон на её ладони сразу ожил, задрожал: три пропущенных, все от мамы, в 10:05, 10:20 и 10:40. Мама, значит, решила позвонить утром. Мама никогда не звонила утром. Фейт сунула телефон в карман, не читая.

Она отдала ему плед. Он сложил его вчетверо, аккуратно, углами к углам, как складывают флаги.

Лифт пришёл. Двери открылись. Она вошла и повернулась.

Он стоял в тамбуре, с пледом в руках, и смотрел на неё. Двери начали закрываться.

— Мисс Литтл, — сказал он.

Она протянула руку и задержала дверь. Резиновый край ткнулся ей в ладонь, отъехал.

— Да?

— В столовой вы всегда берёте чай без лимона, — сказал он. — Я заметил.

Она смотрела на него. Он смотрел на неё. В его лице опять ничего нельзя было прочитать, ни смущения, ни шутки, ничего, только плед в руках и кривой воротник.

— Зачем вы мне это говорите?

— Не знаю, — сказал он. — Чтобы вы знали, что я заметил.

Она убрала руку. Двери закрылись.

Лифт пошёл вверх, плавно и долго. Сорок секунд. Уши заложило опять, теперь наоборот. Фейт стояла, прислонившись к стенке, и смотрела на табло, где цифры сменялись медленно: -2, -1, 0. На минус первом была Лета. Она не думала про Лету.

Она думала о том, что покраснела. Она чувствовала, как горят щёки и шея под колючим свитером, и не могла с этим ничего сделать, и злилась так, что сжала в кармане телефон с маминими звонками до боли в пальцах. Покраснела. Почти тридцатилетняя женщина, интерпретатор второй категории, семь лет стажа, — покраснела в лифте из-за лимона.

И она узнала, что он заметил, какой чай она берёт.

Лифт остановился на третьем. Двери открылись. Из столовой пахло пловом, и на доске было написано мелом: «Yummy Pilaf».

Он заметил, подумала Фейт. Значит, смотрел.

Глава 4. Нарды

В четверг, первого декабря, в девять десять, она ответила.

— Фейти! — сказала мама так, будто Фейт вернулась из экспедиции. — Ну наконец-то. Ты где? Ты дома? Ты одна? Я тебе в понедельник звонила, утром, ты не взяла. Я испугалась. У тебя всё в порядке? Ты не заболела? У вас там смог, я по телевизору видела, вы там дышите чем?

— Мама. Я на работе была. Там нельзя телефон.

— Как это нельзя телефон? А если с матерью что-то?

— Тогда мне скажут.

— Кто скажет?

Фейт не знала, кто скажет. Она сидела на кухне, под фикусом, с ногами на табуретке, и смотрела в тёмное окно, где отражалась она сама, кухня, лампа и фикус, и сквозь всё это — огни дома напротив.

— Мама, зачем ты звонила в понедельник утром?

Мама помолчала. Это было на неё не похоже. Мама не умела молчать: молчание у неё всегда заполнялось само, вопросами, перечислениями, новостями про соседей. А тут она помолчала, и Фейт услышала, как у мамы в Элко тикают на кухне часы, те самые, с кукушкой, у которой давно сломался механизм и которая не выскакивала уже лет пятнадцать.

— Сон мне приснился, — сказала мама.

— Мама.

— Нет, ты послушай. Мне приснилось, что ты стоишь у двери, мокрая вся, и не заходишь. Я тебе говорю: заходи, Фейти, простынешь. А ты стоишь. И я проснулась в шесть, и мне так нехорошо стало. Я миссис Гарсия позвонила, у неё сонник есть, хороший, старый ещё, она говорит: мокрая — это к перемене. К хорошему, говорит. Но я всё равно...

— Мама, — сказала Фейт. — Сонники — это то же самое, что прогнозы. Только дешевле.

Мама замолчала опять. На этот раз Фейт знала, что сделала: она сказала слово «прогноз», а это слово у них в семье не произносили. Двенадцать лет не произносили. Оно было как дырка в полу, которую накрыли ковриком, и все ходили вокруг коврика, а теперь Фейт наступила на него каблуком.

— Я же тебе только добра... — начала мама.

— Я знаю, — сказала Фейт. — Я знаю. Прости. Я устала. Всё хорошо. Я поела. Я одна. Я не заболела. Смог — да, смог. Позвоню в воскресенье.

— Ты поела, — повторила мама. — Ну хорошо. Ну ладно. Ты поешь ещё.

Фейт положила трубку и долго сидела, не двигаясь.

Ей вспомнился мамин крем для рук. Лавандовый, в синем тюбике, мама мазала им руки каждый вечер перед сном и потом гладила Фейт по голове, и от волос потом до утра пахло лавандой. Фейт ненавидела этот запах лет с девятнадцати. Она не знала, когда начала ненавидеть, — может быть, в тот день, когда нашла голубую папку на верхней полке, за маминой шкатулкой, и сидела с ней на полу в коридоре, и папка пахла лавандой, потому что мама брала её в руки после крема.

Она встала, налила воды, выпила, а потом открыла ноутбук и перечитала сообщение, которое отправила во вторник, двадцать девятого, в 14:02. Целую неделю после колодца она не делала ничего: ходила в столовую, видела его за дальним столом, он кивал ей, она кивала ему. Потом не выдержала.

* * *

Сообщение она переписывала семь раз. Первые шесть были слишком длинные. Седьмое было такое:

«Мистер Саммерс, спасибо за заключение. Клиент отказался от продажи. Можно угостить вас чаем? Без лимона. Ф. Литтл».

Последние два слова она стирала и возвращала трижды. Без лимона. Это было глупо, это было почти кокетство, а Фейт не кокетничала со старших классов. Но если убрать «без лимона», сообщение становилось деловым, как служебная записка, а она хотела, чтобы он понял, что она помнит лифт. Чтобы он знал, что она тоже заметила.

Ответ пришёл через четыре часа и одиннадцать минут. Она не считала. Часы в углу экрана считали за неё.

«Можно. Пятница, 19:00? Я знаю кофейню на Девятой Восточной, там дают нарды. Г. Саммерс».

Она прочитала это, наверное, раз двадцать. Слово «нарды» её почему-то обрадовало больше, чем «можно». «Можно» было вежливостью. «Нарды» было чем-то, что он предложил сам.

* * *

В пятницу утром она открыла пианино.

Лист лежал на планке, как она его оставила, только чуть покрылся пылью, сероватой, бархатной, и когда она взяла его, на пальцах остался след. Она подула на лист. Пыль поднялась и повисла в утреннем свете, а одна из струн опять загудела, сама.

Она ничего не решала, просто положила лист в папку, а папку — в сумку, между ноутбуком и косметичкой: пусть будет при ней, мало ли.

Весь день она работала. Провела три сессии, одну тяжёлую: мужчина пятидесяти лет хотел знать, переживёт ли его мать операцию, и Фейт полчаса объясняла ему, почему не может ответить «да» или «нет», и он плакал, а она подавала ему салфетки. Две лёгкие: девушка выбирала между двумя вузами, пара — между двумя квартирами. Между сессиями она думала о листе в сумке, и сумка стояла у её ног под столом, и Фейт казалось, что она слышит, как лист там шуршит, хотя шуршать ему было нечем.

К вечеру пошёл снег.

* * *

Армянская кофейня на Девятой Восточной была в полуподвале старого дома, под вывеской, на которой половина букв не горела. Фейт спустилась по скользким ступенькам, толкнула дверь и оказалась в тепле, в запахе кофе с кардамоном и табака, в гуле голосов и стуке. Стук был отовсюду: за низкими столиками, у стен, на старых диванах с подушками, сидели старики, человек двадцать, по двое, и играли в нарды. Кубики трещали по доскам, фишки щёлкали, и никто не поднял головы.

Он сидел в углу, на диване у окна, уже без пальто, в свитере, и на коленях у него лежала закрытая доска.

— Вы пришли, — сказал он, вставая. И сам, кажется, смутился, что сказал очевидное.

— Я же приглашала.

— Да. Ну да.

Она сняла пальто и села рядом, на продавленный диван, на мягкие старые подушки, чуть влажные от тепла. Официант, мальчик лет шестнадцати, принёс чайник, два толстых стакана, лаваш и тарелку с сушёными абрикосами и миндалём, ни о чём не спрашивая.

— Я тут часто, — сказал он. — Они меня знают. Я всегда беру одно и то же.

— А что вы берёте?

— Вот это. — Он показал на чайник. — И проигрываю.

Он открыл доску. Доска была старая, тёмная, с инкрустацией по краю, местами выщербленной. Фишки тоже были старые — костяные, белые и чёрные, белые пожелтели. Он достал из кармана два жёлтых кубика, те самые.

— Это не здешняя доска, — сказала Фейт.

— Моя. Я её с собой приношу. Тут, конечно, свои есть, но... — Он пожал плечами. — Отец на этой играл. Вы умеете?

— Нет.

— Я научу. Это просто. Тут всё решают кубики.

Он объяснял правила, расставляя фишки, — коротко, точно, без лишнего, как объяснял, должно быть, калибровку стажёрам. Фейт слушала вполуха. Она смотрела, как он расставляет фишки: каждую ставил ровно, подравнивал пальцем, чтобы стояла точно по центру своего треугольника. Это было смешно, никто так не делал: старики вокруг шлёпали фишки как попало.

Они начали играть. Фейт бросала кубики неловко, они улетали за край доски, раз один упал в стакан. Он вылавливал его ложкой, вытирал салфеткой, отдавал. Она выигрывала. Не потому, что умела, — она путала, куда ходить, и он поправлял её, — а потому, что ей выпадало. Шесть-шесть. Пять-пять. Шесть-пять. Ему выпадало один-два.

— Вы мне поддаётесь? — спросила она после второй партии.

— Нет. Я так всегда.

— Инженер вероятностей, — сказала она, — проигрывает в кубики.

— Тут нет вероятностей. — Он собрал фишки. — То есть есть, конечно, одна тридцать шестая на дубль. Но я не знаю, что выпадет. Никто не знает. Кубики не читают прогнозов. — Он посмотрел на неё. — Мне это нравится. Тут я ничего не знаю заранее.

Она хотела спросить, что же он знает заранее там, внизу, — но он уже снова расставлял фишки, ровно, по центру, и она промолчала.

Старик за соседним столиком громко сказал «Вай!» и хлопнул себя по колену: выиграл. Его противник, такой же старик в кепке, засмеялся беззубо и полез за кошельком.

* * *

На третьей партии она спросила.

Это было непросто. Весь вечер она подбиралась к вопросу и откладывала его, как откладывают разговор с врачом. Она спрашивала про Грейт-Фолс — он оттуда, оказалось, — и про то, почему он пошёл в инженеры — «потому что там всё можно проверить», — и про лоцию — «я никогда не был на Аляске, мне просто нравится, как там написано, честно: здесь мель, здесь камни, здесь не ходите ночью». Она смеялась. Он смешил её, не улыбаясь сам, и это было странное умение — говорить смешные вещи с таким лицом, как будто зачитываешь техническое задание.

А потом она спросила:

— Ваш отец. Вы сказали — «играл». Он...

— Умер, — сказал он. — Давно. Мне было четырнадцать.

— Простите.

— Ничего. — Он бросил кубики. Один-один. — Видите. Опять.

Он передвинул фишку. Фейт смотрела на его руку.

— Он был учитель физики, — сказал он, не поднимая головы. — В Восточной старшей школе. В Грейт-Фолс. Хороший учитель, его любили, я потом узнал. Дома он был просто папа, я не знал, что его любят. Там у них каждый год был матч, учителя против десятиклассников, волейбол. Он всегда играл. Он был высокий, как я. Я сидел на скамейке, на трибуне, это была не трибуна, просто скамейки вдоль стены, и смотрел. Он принял мяч, подачу, такую, знаете, крученную. Хорошо принял. Мяч ушёл вверх, к связующему. А он упал.

Фейт молчала. Чайник остывал между ними.

— Просто упал, — сказал он. — Ни за что не схватился, ничего не сказал. Как будто кто-то выдернул вилку из розетки. Я сначала подумал, что он поскользнулся. Там был крашенный пол, кроссовки скрипели. Я помню, как скрипели кроссовки, когда все к нему побежали. Очень громко. Как будто там была стая каких-то птиц. Скорая ехала двадцать минут. Ему был сорок один год.

— От чего?

— Сказали — сердце. Внезапная остановка. Вскрытие ничего не показало. Сердце как сердце. Просто остановилось. — Он посмотрел на неё. — Ваш ход.

Фейт не бросила кубики. Она сидела и смотрела на доску, на ровные, по центру поставленные фишки, и пол под ней качнулся — по-настоящему или ей показалось. В Солт-Лейк-Сити пол иногда качался по-настоящему. Но старики вокруг продолжали играть, кубики трещали, официант нёс кофе к соседнему столику, и она поняла, что качнулось только у неё.

Отец, дед, дядя, кто-нибудь, кто «просто упал» до пятидесяти. Это первый вопрос, который задаст любой кардиолог.

— Мисс Литтл? — сказал он.

Она протянула руку к сумке.

* * *

Она думала об этом всю неделю. Она думала: протокол, пункт третий, не причинять тяжёлого вреда. Она думала: семнадцатый пункт, уведомить, если затрагивает жизненно важные интересы. Она думала: Дана. «Внезапная — это когда никто не успел. Значит, надо успеть». Если он не знает, он не пойдёт к кардиологу. Если он не пойдёт к кардиологу, никто не найдёт то, что, может быть, можно найти. Если никто не найдёт — одиннадцатое марта сорок шестого года.

Она думала: я не имею права.

Она думала: а кто имеет?

Она достала папку, открыла, вынула лист и положила его на доску, поверх фишек. Лист лёг косо. Две фишки под ним сдвинулись, и он, она видела, чуть дёрнулся — поправить, — и не стал.

— Это пришло мне четырнадцатого ноября, — сказала она. — Заказным письмом. Без обратного адреса.

Он посмотрел на лист. Потом на неё. Потом опять на лист. Потом взял его за края, двумя пальцами, как берут фотографию, чтобы не оставить отпечатков, и поднёс ближе к лампе над помостом.

Он читал долго.

Фейт смотрела на его руки. Она смотрела на руки всех своих клиентов, когда те читали свои распечатки, — руки говорили больше, чем лица. Руки дрожали, мяли бумагу, сжимались, разжимались, теребили край. Одна женщина, читая след о смерти мужа, начала складывать распечатку гармошкой, мелко-мелко, и складывала, пока не сложила всю, и не замечала, что делает. Один мужчина положил руку на свой лист плашмя, как кладут руку на Библию в суде, и так держал до конца сессии.

Его руки не дрожали. Совсем. Лист в его пальцах стоял неподвижно, как приклеенный к воздуху. Он прочитал до конца, потом, она видела по глазам, вернулся наверх и прочитал снова. Медленнее.

Потом его взгляд остановился на одной строке, и Фейт знала, на какой.

Сведения о супруге.

Он поднял на неё глаза.

Она ждала, что сейчас что-то будет. Что угодно. Что он побледнеет, засмеётся, скажет «это шутка», швырнёт лист, встанет и уйдёт. Она видела всё это у клиентов, всё, и была готова ко всему. Он ничего этого не сделал. Он сидел очень прямо и смотрел на неё, и лицо у него было такое же, как в колоде, — без звука. Только где-то в глубине, под этим лицом, что-то происходило, она чувствовала это, как чувствуешь, что в соседней комнате кто-то ходит. Оцепенение, подумала она. Шок. Так бывает, когда новость слишком большая, — человек замирает, чтобы она не раздавила его, и потом, через час, через день, его накрывает. Она видела это. Она знала, что это пройдёт.

— Значит, вот почему вы спрашивали про письма, — сказал он.

— Да.

— И про шредер.

— Лист из вашей партии. Тестовой. Семнадцать-К. Уничтожен по акту одиннадцатого октября.

Он медленно кивнул, сверяя цифры в голове.

— Это не я, — сказал он.

— Я знаю.

— Откуда?

— Человек, который узнал бы о себе такое, не стал бы рассылать это по почте.

Он помолчал.

— Да, — сказал он. — Не стал бы. — И положил лист на доску, ровно, точно по центру, и разгладил ладонью, хотя лист был гладкий.

* * *

Потом они долго говорили. Фейт потом не могла вспомнить всего, только куски: как она рассказывала про журнал бланков, а он слушал, подперев подбородок кулаком, как в колоде. Как он сказал, что в калибровке сорок человек, и любой из них мог открыть его веер в тестовом окне, — тестовые окна выдают произвольные веера, «но не совсем произвольные, если знать, как попросить». Как она спросила, кого он подозревает, и он сказал: «Никого. Я не знаю, кому это нужно». Как она сказала про Дану, не называя Даны, — про то, что внезапная смерть до сорока чаще всего врождённая и что многое можно найти, если искать.

— Вам надо проверить сердце, — сказала она.

— Надо, — сказал он.

— Я серьёзно.

— Я тоже. — Он посмотрел на лист. — Это ведь вероятность, а не приговор. Ноль пятьдесят два. Это же ваш протокол, мисс Литтл. Пункт первый.

Она не ответила. Было странно слышать пункт первый от него, здесь, среди стука кубиков. Было странно, что это она сейчас нуждалась в утешении, а он утешал.

— Допустим, — сказала она. — Допустим, вероятность. Вы сообщите? В этическую службу?

— А вы?

— Я не сообщила. Семьдесят два часа прошли.

— Если сообщим, — сказал он медленно, — нам обоим предложат Лету. Мне — точно. Вам — скорее всего. Я не хочу забывать.

— Что?

Он подумал.

— Что вы пригласили меня на чай.

Фейт рассмеялась. Она не хотела смеяться, это было совсем не смешно, на доске между ними лежало свидетельство о его смерти, — но она рассмеялась, громко, так, что старик за соседним столиком обернулся. И он тоже улыбнулся, впервые за вечер, впервые за всё время, что она его видела, — криво, одной стороной, как будто улыбка у него была не очень разработана.

— Значит, не сообщаем, — сказала она.

— Значит, не сообщаем.

Она убрала лист в папку, папку — в сумку, а он стал собирать фишки, медленно, по одной, и укладывал в доску ровными столбиками, белые к белым, чёрные к чёрным.

* * *

Когда они вышли, снег шёл всерьёз. Девятая Восточная была белая, тихая, фонари стояли в ореолах, машины ползли, как жуки, с белыми спинами. Пахло снегом и выхлопом. Фейт застегнула пальто до горла.

— Я провожу, — сказал он.

— Мне на автобус.

— Я до автобуса.

Они шли молча. Снег скрипел. Он нёс доску под мышкой, как тогда, в сентябре, зонт. У остановки никого не было. Табло показывало: двенадцатый — через девять минут.

— Мисс Литтл, — сказал он.

— Фейт.

— Фейт. — Он помолчал, как будто пробовал слово. — Там написано, что я женат. На вас.

— Я читала.

— Ну вот. — Он смотрел на дорогу, на снег, на огни. — Я подумал, что мне, по идее, надо хотя бы узнать, как вы пьёте кофе. Раз чай я уже знаю.

Она посмотрела на него. Снег лежал у него на волосах, на плечах, на доске под мышкой, и седина на висках смешивалась со снегом, так что не разобрать было, где что.

— Я не выхожу замуж за документы, — сказала Фейт.

— Я тоже, — сказал он.

Подошёл двенадцатый, пустой, светлый изнутри, как аквариум. Двери открылись. Фейт поднялась на ступеньку, обернулась.

— Чёрный, — сказала она. — Без сахара. Но если кофе плохой, то с молоком.

— Запомню, — сказал он.

Двери закрылись. Автобус тронулся. Она смотрела в заднее окно, протёрла рукавом запотевшее стекло, и видела, как он стоит на остановке, высокий, сутулый, с доской под мышкой, в снегу, и не уходит. Он стоял, пока автобус не свернул на Стейт-стрит.

Свидетельство о его смерти лежало у неё в сумке, на коленях. Она положила на сумку обе руки, плашмя.

Глава 5. Три с половиной

В декабре они виделись одиннадцать раз. Фейт не собиралась считать, но у неё была привычка записывать в телефон, где и с кем она была, — привычка из университета, когда она вела дневник наблюдений для курсовой по «самомониторингу», и курсовая давно кончилась, а дневник остался. В дневнике за декабрь было одиннадцать записей с буквой «Г».

Кофе в первый раз оказался плохим. Это было в понедельник, у ларька возле башни, в восемь утра, на холоде, и кофе был горький, пережжённый, с кислым хвостом. Она сделала глоток и поморщилась, и он молча достал из кармана пальто маленькую картонную упаковку молока, такую, какие дают в самолётах, открыл, вылил ей в стакан.

— Вы носите с собой молоко?

— С пятницы, — сказал он. — Вы сказали: если кофе плохой, то с молоком. Этот всегда плохой.

Он носил его потом каждое утро. Она один раз специально взяла кофе в хорошей кофейне на Двадцать первой Южной и пришла к ларьку уже со стаканом в руке — проверить. Он посмотрел на стакан, на неё, положил молоко обратно в карман и ничего не сказал. Ей стало стыдно, как будто она его обманула, хотя она просто купила кофе.

Они гуляли. Он провожал её до автобуса, потом до дома, потом, в середине декабря, впервые поднялся с ней на пятый этаж без лифта, донёс сумку с продуктами и не зашёл, хотя она не сказала «не заходите». Он постоял на площадке под перегоревшей лампочкой, сказал: «У вас лампочка», — и на следующий день пришёл с лампочкой и стремянкой, которую нёс через полгорода в автобусе. Фейт смотрела снизу, как он стоит на стремянке, сутулый даже там, под потолком, и выкручивает старую лампочку, и думала, что никто никогда не вкручивал ей лампочек. Хозяйка квартиры не в счёт.

К кардиологу он не пошёл.

— После Нового года, — сказал он, когда она спросила в третий раз. — Там очередь до двадцатого. Я записался.

— Правда записались?

— Правда. Девятнадцатое января. Хотите, покажу?

Она не захотела. Она хорошо знала, как выглядит со стороны человек, который просит показать.

* * *

По воскресеньям Фейт пекла хлеб.

Хлеб не получался. Он не получался у неё уже три года, с тех пор как она купила на распродаже книгу «Хлеб своими руками» с фотографией румяного каравая на обложке. Каравай на обложке был круглый, с хрустящей корочкой, с трещиной, похожей на улыбку. У Фейт получались плоские серые лепёшки, плотные, как резина, или, наоборот, пористые сверху и сырые внизу. Один раз хлеб поднялся так, что вылез из формы и прилип к стенке духовки, и она отковыривала его ножом до вечера.

Всё остальное, что не получалось, она бросала быстро: теннис, испанский, гитару. Хлеб — нет.

В последнее воскресенье декабря хлеб получился почти. Он поднялся, не вылез, корочка была светлая, но настоящая, и когда Фейт постучала по донышку, он ответил глухо, как полается. Она разрезала его ещё тёплым. Внутри был сырой комок величиной с кулак.

Она съела всё, что вокруг комка, с маслом и солью, стоя у окна, и это было вкусно.

* * *

Новый год она встречала у Даны.

Дана жила в Тейлорсвилле, в многоквартирном доме, в квартире с двумя спальнями, которая после развода стала ей велика и при этом тесна: в одной комнате спал Алекс, в другой стояли стол, диван и шкаф, и больше не помещалось ничего. На столе были картофельный салат, курица, магазинный торт и бутылка шампанского, которую Дана поставила в морозилку и забыла, так что к полуночи шампанское замёрзло, и пробку пришлось выковыривать вилкой.

Алексу было шесть. Он не спал из принципа и сидел на диване в пижаме с динозаврами, держа на коленях планшет, в котором ничего не смотрел, а только держал.

— Тётя Фейт, — сказал он около одиннадцати. — А правда, что вы будущее знаете?

— Кто тебе сказал?

— Мама.

Дана с кухни крикнула:

— Я сказала, что тётя Фейт знает, где искать будущее! Это разное!

— Это разное, — подтвердила Фейт.

Алекс подумал.

— А будущее у всех одно? Или у каждого своё?

— У каждого много, — сказала Фейт.

— Много — это сколько?

— Ну... как веток у дерева.

— А какая настоящая?

Фейт посмотрела на Дану. Дана стояла в дверях кухни, с полотенцем на плече, и смотрела на неё с интересом.

— Никакая, — сказала Фейт. — Пока не наступит. Потом одна становится настоящей, а остальные — нет.

— А остальные куда деваются?

— Не знаю, — сказала Фейт.

Алекс кивнул, удовлетворённый ответом, и снова уставился в тёмный планшет. Дана вернулась на кухню. Фейт сидела на диване и не могла вспомнить, когда последний раз говорила кому-нибудь «не знаю» на работе.

В полночь они вышли на балкон. Город лежал внизу, в смоге, и над смогом рвались фейерверки — зелёные, золотые, красные, — и от каждого смог вспыхивал изнутри, как бумажный фонарь. Алекс визжал. Дана пила замёрзшее шампанское из чайной чашки. Фейт стояла, кутаясь в Данину куртку, и думала о том, где он сейчас. Он сказал, что встречает один, что всегда встречает один, «так проще». Она хотела позвать его к Дана и не позвала. Он бы не пришёл. Или пришёл бы, сел в углу, и Дана задавала бы ему вопросы, а он отвечал бы, как в колодце, и Фейт не выдержала бы.

— Ну? — сказала Дана, не поворачиваясь. — Как знакомый?

— Нормально.

— Сердце проверил?

— Записался. На девятнадцатое.

— Записался, — повторила Дана. — Ну-ну.

* * *

Домой Фейт вернулась в половине второго, на такси. Город был пустой, засыпанный конфетти и пустыми гильзами от петард, на пятом этаже горела новая лампочка, и Фейт разделась, умылась, легла и почти уснула.

В два четырнадцать дом качнуло.

Сначала был звук: гул, низкий, снизу, как будто под домом проехал тяжёлый поезд, хотя никаких поездов под Ферн-стрит не ходило. Потом качнулась люстра. Потом дрогнула кровать, вся сразу, как будто кто-то большой сел на край. В комнате загудело пианино, все струны разом, долгим, тихим, жутким аккордом, которого Фейт никогда в жизни не слышала. На кухне звякнула посуда. Стёкла в окне дрогнули.

Потом всё кончилось.

Это длилось секунд пять, может быть шесть. Фейт лежала, не дыша, и слушала, как затихает пианино. Струны гудели ещё долго, тоньше и тоньше, и наконец замолчали.

Она знала, что делать. Все в Солт-Лейк-Сити знали. Вставать, не бежать к лифту — лифта нет, — встать в дверной проём, ждать, если повторится — выходить. Три, может быть четыре, решила она, потом проверила по телефону: магнитуда три и пять, эпицентр под Мэгной, глубина семь миль. Ничего. Такие здесь бывают каждый год. Все переворачиваются на другой бок и спят дальше.

Фейт не спала. Она сидела на кровати, подтянув колени к груди, и у неё стучали зубы, и она не могла их остановить.

С толчками у неё было так всегда, с двадцати трёх лет, с Мэгны. Тогда Сито нашло газету, которой ещё не было, — со списком из сорока шести фамилий, — и Мэгну вывезли за ночь. Погибли двое, те, кто не уехал. Сорок четыре фамилии из газеты потом ходили на работу и иногда об этом думали. Маленьких толчков Сито не видело: о трёх баллах не пишут газет.

Фейт тогда первый год работала в «Мойре», младшим интерпретатором, и собиралась уходить. После Мэгны не ушла. Она никому не говорила почему. Это звучало бы слишком красиво.

Но с тех пор, когда трясло, она не могла спать одна. Даже три балла. Даже два. Она лежала и ждала второго толчка, и второй толчок не приходил, и она ждала его всё равно.

Она взяла телефон, чтобы посмотреть время. Два семнадцать. Она открыла последние звонки. Там было: мама, Дана, мама, мама, «Г.».

Она нажала «Г.», не думая. Потом, когда пошли гудки, подумала и хотела сбросить.

Он ответил после первого гудка.

— Фейт?

— Вы не спите.

— Тряхнуло, — сказал он. — Вы как?

— Нормально, — сказала она. И зубы у неё стукнули так, что он, наверное, услышал.

Он помолчал секунду.

— Я приеду, — сказал он.

— Не надо. Сейчас ночь. Новый год. Такси не...

— Я приеду, — повторил он и отключился.

* * *

Он приехал через двадцать шесть минут. Фейт всё это время просидела на кухне, в пальто поверх пижамы, с включённым светом, слушая дом. Дом молчал, только где-то внизу, на четвёртом, плакал ребёнок, потом перестал.

Она сидела, сунув руки в рукава пальто, и пальто пахло улицей, холодом и петардами. Лампа над столом светила жёстко, по-дневному, и от этого окно стало совсем чёрным, а кухня в нём — маленькой и жёлтой, с фикусом и её собственным лицом посередине. Холодильник включался и выключался. Каждый раз, когда он вздрагивал, начиная гудеть, у неё поджимались пальцы ног, и она ждала, не пойдёт ли гул дальше, в пол, в стены, в струны пианино за стенкой. Гул не шёл. Пианино в комнате молчало, и она всё равно прислушивалась к нему, к тому месту в темноте, где оно стояло, тяжёлое, чёрное, с закрытой крышкой.

Он постучал тихо, хотя звонок работал.

Он стоял на площадке, под новой лампочкой, в пальто, без шапки, с красными от мороза ушами, и держал в руках стальной термос — обычный, серый, побитый, с вмятиной на боку.

— Чай, — сказал он. — Чёрный. Без лимона.

Она впустила его. Он прошёл на кухню, поставил термос на стол, огляделся, посмотрел на фикус, потом на трещину в потолке над плитой — старую, Фейт её знала, — подошёл и посмотрел ближе.

— Старая, — сказал он. — Не новая. Новые светлее.

— Я знаю.

— Я на всякий случай.

Он разлил чай по двум её чашкам, по разным, потому что одинаковых у неё не было. Чай был крепкий, горячий, сладкий, а она не пила сладкий чай. Она выпила всё.

Они просидели на кухне до шести утра.

Она не помнила потом, о чём они говорили сначала. Кажется, о Мэгне: он тоже помнил, ему было двадцать пять, он тогда только пришёл в «Мойру», в лабораторию, и это был его первый месяц. Он рассказывал, как они сидели всю ночь перед той газетой, все, весь отдел, и никто не верил, и он сам не верил, а потом утром пришли новости. «Я тогда первый раз понял, что это работает, — сказал он. — До этого думал — математика. А это работает». Он сказал это, глядя в чашку, и это прозвучало как признание.

Потом она рассказала ему про пианино. Как все струны загудели разом. Он слушал очень внимательно.

— Резонанс, — сказал он. — Дека ловит низкие частоты. Толчок — это низкая частота. Пианино — лучший сейсмограф, какой у вас есть.

— Это успокаивает?

— Нет. Но это интересно.

Она засмеялась. Зубы больше не стучали. За окном начало сереть, и снег на крышах стал голубым.

Он ни разу за ночь не взял её за руку. Ни разу не сказал «не бойтесь», или «всё будет хорошо», или «я здесь». Он сидел напротив, через стол, с чашкой, и разговаривал с ней, и каждый раз, когда дом где-то внизу скрипел — дома всегда скрипят после толчка, оседают, — он чуть поворачивал голову, прислушивался и говорил: «Это лестница», «Это трубы», «Это у соседей дверь». И она верила.

В шесть он ушёл. Она проводила его до двери.

— Спасибо, — сказала она.

— Вы уже говорили, — сказал он. — В сентябре.

Она не сразу поняла. А когда поняла, он уже спускался по лестнице, и она стояла в дверях и слушала, как его шаги уходят вниз, четвёртый, третий, второй.

Она легла и проспала до трёх часов дня.

* * *

Седьмого января, в субботу, они поехали на Хидден-Пик.

Это была её идея. Ей хотелось куда-то вверх, над смогом, и на Хидден-Пик в ясный день смога не было: гора торчала над ним, как остров. День был ясный, морозный, синий. Канатка ползла вверх над белыми склонами, над елями, над лыжными трассами. Кабина была большая, на сотню человек, и почти пустая — утро, мороз, январь, — и они стояли у окна вдвоём. Он стоял рядом, как тогда, через стол, только ближе, и смотрел в окно.

— Вы боитесь высоты? — спросила она.

— Нет. Я боюсь, что трос оборвётся.

— Это одно и то же.

— Нет. Высота — это ничего. Высота — это просто много футов. Трос — это конкретная вещь, которая может сломаться. — Он посмотрел вверх, на крепление кабинки. — Его проверяют раз в квартал. Я посмотрел.

— Вы посмотрели график проверки троса канатной дороги?

— Перед тем как вас звать.

— Я вас звала.

— Перед тем как соглашаться.

Наверху было белое, тихое, сверкающее, мачта ретранслятора уходила в синее небо, лыжники в ярких куртках топали к подъёмникам. Возле деревянного лося — его вырезал бензопилой какой-то местный умелец, в полный рост, с рогами, — фотографировались туристы, и у лося на рогах лежал снег, а на морде — иней. Фейт всегда любила этого лося: он был смешной и неуместный, и никто не знал, зачем он здесь, и все с ним фотографировались.

Они взяли глинтвейн в бумажных стаканах и встали у парапета. Внизу лежал город. Он был под смогом, весь, целиком, — серо-жёлтое озеро от гор до горизонта, и из озера торчали только верхушки башен, как мачты затонувших кораблей. Где-то там, внизу, была «Мойра». Её тридцать один этаж почти весь утонул, видно было только шпиль.

— Отсюда кажется, что там никого нет, — сказала Фейт.

— Там миллион людей, — сказал он. — Дышат этим.

— Я знаю.

Она отпила глинтвейна. Он был слишком сладкий, с гвоздикой, которую она не любила.

— Мне было семнадцать, — сказала она, — когда мама купила мой прогноз.

Она не собиралась этого говорить. Она никому этого не говорила. Дана знала, но Дана знала, потому что в девятнадцать Фейт вернулась из Элко с одной сумкой, позвонила в два часа ночи и проговорила до утра. Больше не знал никто.

Он ничего не сказал. Он повернулся к ней и стал слушать.

— Тогда это ещё были пилоты, — сказала она. — Двадцать седьмой год. Частные клиенты, очень дорого. Мама продала бабушкин дом. Бабушка тогда только умерла, дом в Шугар-Хаусе, маленький, хороший. Мама его продала и всё отдала за один прогноз. Мой. Я поступала тогда. Хотела в Нью-Йорк, на психологию. У меня был мальчик, Тайлер, у него была машина, старая «тойота», мы собирались летом поехать на солончаки Бонневиль, на гонки, с друзьями, на три дня.

Она замолчала. Внизу, в смоге, что-то блеснуло — может быть, окно, может быть, машина.

— Там был один след, — сказала она. — Одна бумажка. Заметка в новостях. Двадцать девятый год, август, ДТП на восьмидесятой трассе у солончаков Бонневиль, четверо молодых людей, одна погибла. Литтл Фейт, девятнадцать лет. Достоверность — не помню. Мама не помнила тоже, она не понимала, что это значит. Она поняла только, что там моя фамилия.

— И она...

— Она два года делала всё, чтобы я туда не поехала. — Фейт усмехнулась. — Не говоря мне. Отговорила от Нью-Йорка — у неё вдруг заболело сердце, нужно было, чтобы я была рядом. Поругалась с Тайлером, потом с его матерью, потом написала на него заявление в поли-

цию, что он к ней пристаёт, — он не приставал, — и его вызвали, и он испугался, и мы расстались. Летом двадцать девятого она позвонила мне в общежитие и сказала, что ложится на обследование в Элко и ей страшно одной. На те самые три дня. Я приехала. Обследования не было. Мы сидели у неё на кухне и смотрели телевизор.

Она поставила стакан на парпет. Глинтвейн остыл.

— Аварии не было, — сказала она. — Ни с кем. Ребята съездили на солончаки и вернулись. Тайлер поехал без меня, с другой девушкой. Все живы. Я потом проверяла — я уже работала в «Мойре», у меня был доступ к архиву. Никакой аварии на той трассе в августе двадцать девятого. Ни с кем.

Он ничего не сказал. Он смотрел на неё и ждал.

— Я не знаю, — сказала она. — Я никогда не узнаю. Понимаете? Никогда. Мама уверена, что спасла меня. А я не знаю, спасла она меня или украла у меня два года, Нью-Йорк и Тайлера. И никто не знает. Сито не знает. Это нельзя проверить.

— Вы что-то нашли, — сказал он.

— Папку. В девятнадцать. Голубая, пластиковая, с кнопкой. «Фейт. Прогноз». Маминым почерком. На верхней полке, за шкатулкой. — Фейт закрыла глаза. — Она пахла лавандой. Мама мажет руки кремом, лавандовым. Я сидела на полу с этой папкой и всё поняла. Каждую её болезнь. Каждую ссору. Каждое «Фейти, не надо». Всё было написано — в ней. Она жила по этой бумажке два года, и я жила по ней, не зная.

Она открыла глаза. Он смотрел на неё. Без звука, как всегда, только очень близко.

— Я ушла из дома с одной сумкой, — сказала Фейт. — И теперь я эти ниточки вижу. У всех. За это мне платят.

Он молчал долго.

— А сейчас? — спросил он.

— Что сейчас?

— Сейчас вы видите ниточки?

Она поняла, о чём он. Лист в пианино. Графа «супруга». Кто-то, кто прислал это. Кто-то, кто, может быть, хотел, чтобы она стояла сейчас на Хидден-Пик рядом с ним.

— Вижу, — сказала она. — Одну. Не знаю, кто за неё тянет.

Он кивнул.

Он стоял совсем близко, ближе, чем раньше, и она видела иней на его ресницах и белую чёрточку шрама, и маленькую каплю глинтвейна на нижней губе. Она видела, что он сейчас наклонится. Она это видела так же ясно, как видела у клиентов, что сейчас заплачут. И она хотела, чтобы он наклонился, очень, так, что у неё заболело под рёбрами.

Он наклонился.

— Не надо, — сказала она.

Он остановился.

— Я не хочу, — сказала Фейт, — чтобы это было потому, что там написано.

Он выпрямился. Медленно. Он стоял и думал, и лицо у него было такое, как в колодце, когда строки на экране бежали и он ждал, пока они остановятся.

— Там ничего не написано про сейчас, — сказал он. — Там написано про март сорок шестого. И про то, что я женат. Там не написано, что я вас поцелую седьмого января на Хидден-Пик. Этого там нет.

— Откуда вы знаете?

Он помолчал.

— Я не знаю, — сказал он. — Я предполагаю.

Она отступила на шаг. Потом ещё. Взяла с парпета остывший стакан, чтобы что-то держать в руках.

— Мне надо подумать, — сказала она.

— Думайте.

— Я поеду вниз.

— Я подожду следующую кабинку.

Она пошла к канатке. Снег скрипел. У лося туристы смеялись, кто-то повесил ему на рог свою шапку. Фейт шла и не оборачивалась, и у самого входа на станцию, перед турникетом, обернулась.

Он стоял у парапета, где она его оставила, высокий, сутулый, без шапки, с красными ушами, над утонувшим городом. Он не смотрел ей вслед. Он смотрел вниз, на смог, на то место, где из серо-жёлтого озера торчал шпиль «Мойры».

Глава 6. Голубая папка

Она думала два месяца.

Она знала, какое думанье советуют клиентам: «возьмите паузу, не принимайте решений сразу, поживите с этим». Клиенты брали паузу и жили с этим, и Фейт видела, как они возвращаются через месяц, через два, — уже решившие, просто ещё не знающие об этом. Её думанье было другим. Она ходила на работу, проводила сессии, по воскресеньям пекла хлеб, по утрам пила плохой кофе с молоком из самолётной упаковки. Она виделась с ним два-три раза в неделю. Они гуляли, ели в столовой — теперь за одним столом, у окна, и инженеры за дальним столом в первый раз смотрели на них, а потом перестали. Они ни разу больше не стояли так близко, как на Хидден-Пик. Он не наклонялся. Она не просила.

Девятнадцатого января кардиолог заболела. Приём перенесли на апрель, на восемнадцатое. Он показал ей сообщение из клиники, хотя она не просила показывать: «Уважаемый пациент, в связи с болезнью врача...» Она прочитала и кивнула. Ей было неловко, что он показывает, как будто он отчитывается. Ей было бы неловко, если бы не показал.

Третьего февраля она отправила ему сообщение в 7:30 утра: «С днём рождения».

Ответ пришёл через минуту.

«Спасибо. Откуда вы знаете?»

Она смотрела на экран, а за окном было темно, на кухне горела лампа, в чашке остывал кофе. Она знала дату его рождения из свидетельства о его смерти. Третье февраля две тысячи восьмого года. Это была первая строчка после фамилии.

«Из документов», — написала она.

Он долго не отвечал. Точки появлялись и исчезали. Потом пришло:

«Логично. Мне тридцать два. По идее, это ещё не середина».

Она засмеялась одна на кухне и сразу перестала. Тридцать два. Середина — это если до шестидесяти четырёх. А до тридцати восьми — это уже больше половины. Он посчитал. Он, конечно, посчитал, он считал всё. И он пошутил, чтобы ей не пришлось считать самой.

Она весь день думала, что купить ему в подарок, и ничего не купила.

* * *

Седьмого марта, в среду, она поехала к маме.

Автобус уходил с автовокзала Грейхаунд в девять утра, старый «Грейхаунд» с продавленными сиденьями и телевизором под потолком, по которому всю дорогу шла мексиканская теленовелла без звука. Фейт ездила этим автобусом два раза в год, на мамин день рождения, восьмого марта, и на Рождество, и каждый раз садилась у окна справа. Справа было водохранилище.

Город кончился быстро, потом пошли пригороды, склады, заправки, придорожные лотки с горами арбузов, которых в марте не было, но рынки стояли, пустые, с выцветшими навесами, а потом пошла пустыня. Пустыня в марте была ещё зимняя: бурая, плоская, с белыми пятнами снега в ложбинах, с редкими чёрными коровами, которые стояли неподвижно, как поставленные кем-то для масштаба. Горы уходили назад и вправо, синие, с белыми вершинами, и становились всё меньше.

Через полчаса справа открылось Солёное озеро.

Озеро было серое, плоское, огромное, у берега — белое от соли, дальше — свинцовая вода. Трасса шла вдоль него долго, минут двадцать, а потом начались солончаки — белые, ровные, до самых гор. Фейт смотрела на воду. Она смотрела на неё каждый раз, два раза в год, одиннадцать лет. Где-то здесь, на этой трассе, на одной из этих миль, в августе двадцать

девятого года должна была перевернуться старая «тойота». Должна была — в одной из ветвей, в одной заметке, с её фамилией.

Она не знала, на какой миле. В заметке не было мили. Она каждый раз пыталась угадать: вот здесь, на повороте? Вот здесь, у моста? И каждый раз ничего не чувствовала. Трасса как трасса. Отбойник, разметка, придорожная закусочная «Солт-Флэтс» с нарисованным на стене бургером.

Её телефон зажужжал.

«Вы где?» — написал он.

«Солёное озеро», — написала она.

Он не стал спрашивать. Он знал, что значит Солёное озеро, она ему рассказала. Через минуту пришло:

«Там справа вода. Смотрите на воду».

Она смотрела на воду. Вода была серая и ничего не обещала.

* * *

Мама жила в Саут-Элко, в трёхэтажном доме, на третьем этаже, в квартире, где Фейт выросла. Квартира не менялась: обои с бежевыми ромбами, ковровое покрытие, сервант с фарфором, которым никогда не пользовались, часы с кукушкой на кухне. Кукушка не выскакивала уже пятнадцать лет, но часы шли и тикали, громко, на всю квартиру, и Фейт, засыпая в своей бывшей комнате, всегда слышала их сквозь стену.

Мама открыла дверь раньше, чем Фейт позвонила, — видимо, стояла у глазка.

— Фейти!

Мама обняла её в дверях, крепко, долго, и Фейт почувствовала запах лаванды и сразу, против воли, напряглась. Мама почувствовала. Мама всегда чувствовала и никогда не подавала виду. Она отстранилась, оглядела Фейт с ног до головы — сапоги, пальто, лицо, — и сказала:

— Похудела.

— Не похудела.

— Похудела. Я вижу. Проходи. Я пирог поставила. Ты голодная? Ты в автобусе ела? Там ведь ничего нормального нет, там только эти чипсы. Разувайся. Тапочки твои вот. Я их постирала.

Тапочки были те же, что десять лет назад, розовые, с помпонами, и действительно постиранные. Фейт надела их.

Мама была маленькая, полная, с короткой седой стрижкой, которую делала раз в месяц у миссис Гарсия с первого этажа. Миссис Гарсия когда-то работала парикмахером, потом вышла на пенсию и стригла соседок на дому, дёшево и всегда одинаково. Все соседки в доме были стрижены одинаково, как будто состояли в одном клубе. Маме было пятьдесят восемь. Она двадцать пять лет проработала бухгалтером в школе и до сих пор, говоря, иногда раскладывала мысли по столбцам: «Во-первых... во-вторых... итого».

Они ели мясной пирог на кухне, под часами. Мама рассказывала про соседей, про давление, про то, что в магазине на углу подорожало масло, про сериал, который она смотрит. Фейт слушала, кивала, ела. Пирог был очень хороший. Мама всегда очень хорошо готовила, и Фейт, когда ушла из дома, первые полгода не могла есть ничего, кроме лапши из пакетов, потому что всё остальное было не мамино.

— Ты влюбилась, — сказала мама, не меняя тона, между ценой масла и давлением.

Фейт поперхнулась.

— С чего ты взяла?

— Ты телефон три раза достала. Ты никогда телефон не достаёшь за едой, я тебя приучила. — Мама положила ей ещё кусок. — Кто он?

— Никто.

— Никто — значит, кто-то. Он хороший? Он тебя не обижает? Он работает? Он где работает? Он местный или приезжий? Мне всё равно, ты не думай, мне просто интересно. Сколько ему лет?

— Мама.

— Что «мама»? Я спрашиваю. Я имею право спросить у родной дочери.

— Он у нас работает, — сказала Фейт. — Инженер. Ему тридцать два.

— Инженер, — повторила мама, как будто записывая в столбец. — Это хорошо. Инженеры спокойные.

Фейт ничего не сказала. Часы тикали. Кукушка за своей дверцей молчала пятнадцатый год.

* * *

Ночью она не могла уснуть.

Её комната осталась такой же, как была: узкая кровать, письменный стол, на стене — постер какой-то группы, название которой Фейт уже не помнила, и полка с учебниками за выпускной класс. Мама ничего не трогала. Мама, наверное, заходила сюда иногда и сидела.

Она лежала на спине и слушала часы. Сквозь стену они тикали так же, как в детстве, чуть неровно, с маленькой заминкой перед каждым четвёртым ударом, и она поймала себя на том, что ждёт этой заминки и считает до неё. Кровать была узкая, матрас продавлен посередине, и тело само скатывалось в ложбину, которую когда-то, за все те годы, пролежало само. Пахло стиральным порошком от наволочки, пылью от постера и, совсем слабо, из-под двери, мясным пирогом и лавандой. Фонарь во дворе светил сквозь занавеску, и на потолке лежал жёлтый прямоугольник с тенью ветки посередине, и ветка иногда шевелилась, хотя ветра Фейт не слышала.

Около двух Фейт встала, вышла в коридор, тихо, в розовых тапочках.

Коридор был длинный, тёмный, с антресолями под потолком и встроенным шкафом. На верхней полке шкафа, за маминой шкатулкой с документами, раньше лежала голубая папка. Фейт не знала, лежит ли она там сейчас: она не открывала этот шкаф одиннадцать лет и даже не смотрела в его сторону, когда приезжала.

Она открыла шкаф, встала на цыпочки и нащупала шкатулку — деревянную, резную, мамину. За шкатулкой пальцы коснулись гладкого пластика.

Папка была на месте.

Она достала её и села на пол, прямо там, в коридоре, спиной к шкафу, как сидела тогда, в девятнадцать. Папка была та же. Голубая, пластиковая, с кнопкой. На обложке — наклейка, мамин почерк, круглый, учительский, хотя мама не была учительницей: «Фейт. Прогноз». Кнопка расстёгнута.

Внутри был один лист, обычной бумаги: тогда, в двадцать седьмом, клиентам выдавали распечатки на обычной, с синей печатью внизу. Лист пожелтел по краям. Фейт не стала его доставать. Она и так знала, что там написано, каждое слово. Она просто держала папку на коленях и смотрела на мамин почерк.

Папка пахла лавандой. Всё ещё. Одиннадцать лет спустя.

В коридоре зажёгся свет.

Мама стояла в дверях своей комнаты, в ночной рубашке, с накинутым на плечи халатом. Она посмотрела на Фейт, на открытый шкаф, на папку. Ничего не сказала. Прошла по коридору, медленно, и села на пол рядом с Фейт, тяжело, неловко, держась за стену. Мама не сидела на пол лет двадцать.

Они сидели рядом, спиной к шкафу. Часы на кухне тикали.

— Я думала, ты её выбросила, — сказала Фейт.

— Как я её выброшу, — сказала мама.

— Мама. Аварии не было.

— Я знаю.

— Я проверяла. Потом. Ни с кем. Ни на той трассе, ни в том августе.

— Я знаю, Фейти. — Мама смотрела перед собой, на противоположную стену, где висело зеркало, и в зеркале отражались они обе, сидящие на полу. — Потому что тебя там не было.

— Или потому что прогноз ошибся.

— Или так.

— Или потому что Тайлер поехал в другой день. Или ещё что-нибудь. Ты не знаешь, мама. Никто не знает.

— Я знаю, что ты живая, — сказала мама. — Вот ты сидишь. Тридцатый год. Живая. Это я знаю.

Фейт молчала. Она чувствовала, как в горле что-то поднимается, горячее, тяжёлое, и не давала ему подняться.

— Я бы ещё раз так сделала, — сказала мама. — Сто раз. Ты меня прости, но я бы сто раз.

Она сказала «ты меня прости», но это не было «прости». Фейт знала разницу. Мама никогда не говорила «прости» просто так, отдельно. Только в составе других фраз, как деталь, которую нельзя вынуть, не сломав конструкцию.

— А если бы ты знала, — сказала Фейт, — что всё равно ничего не случится? Что я бы съездила, искупалась и вернулась. Ты бы тогда что? Ты бы отдала мне эти два года?

Мама подумала.

— Так не бывает, — сказала она, — чтобы знать.

Они посидели ещё. Потом мама сказала, не поворачивая головы:

— Он болеет?

Фейт вздрогнула.

— Почему ты спрашиваешь?

— Потому что ты достала папку. Ты не достаёшь её одиннадцать лет. А сегодня достала. Значит, у тебя что-то там. — Мама кивнула на папку. — Что-то такое. Я не дура, Фейти, я двадцать пять лет считала чужие деньги. Я вижу, когда в сумме не сходится.

Фейт смотрела на мамин почерк. «Фейт. Прогноз».

Она могла бы рассказать. Про письмо, про марку с бизоном, про графу «сведения о супруге». Она могла бы сказать: мне прислали его свидетельство о смерти, мама, и там написано, что я его жена. Она представила, как мама это услышит. Как мама будет сидеть, вот так, на полу, и слушать, и Фейт будет видеть, как у неё в голове выстраиваются столбцы: во-первых, во-вторых, итог.

— У него, может быть, большое сердце, — сказала она. — У него отец умер в сорок один. Внезапно. Может быть, наследственное. Может быть, нет. Он будет проверяться.

Мама долго молчала.

— Не ходи за него, — сказала она.

Фейт повернулась к ней.

— Что?

— Не ходи за него замуж, Фейти. — Мама смотрела на неё, и глаза у неё были мокрые, и голос ровный, бухгалтерский. — Я тебя прошу. Я одна тебя вырастила. Твой отец ушёл, когда тебе два года было, и я одна. Я знаю, как это — одна. Я не хочу, чтобы ты так. Найди себе здорового. Ты красивая, ты умная, у тебя работа. Найди здорового. Я тебя прошу.

Фейт смотрела на маму. На мокрые глаза, на седую стрижку миссис Гарсия, на халат на плечах. На папку у себя на коленях.

— Мама, — сказала она. — Я ещё никуда не хожу.

— Ну и не ходи.

— Мам. — Фейт закрыла папку, застегнула кнопку. Кнопка щёлкнула, громко, в пустом коридоре. — Я сама.

Мама посмотрела на неё долго. Потом кивнула, один раз, и стала подниматься, держась за шкаф. Фейт помогла ей встать. Мама взяла у неё папку, встала на цыпочки, положила на полку, за шкатулку, и закрыла шкаф.

— Спокойной ночи, — сказала мама и ушла к себе.

Свет в коридоре она не выключила. Фейт выключила сама.

* * *

Мамин день рождения прошёл, как проходил всегда: мама получила от Фейт цветы, тюльпаны, жёлтые, и духи, которыми не пользовалась, и сказала «зачем тратилась». Миссис Гарсия пришла с тортом. Они смотрели концерт по телевизору. Мама ни слова не сказала о ночи. Фейт тоже.

Днём пришло сообщение: «Поздравь от меня маму. Г.». Больше ничего. Она смотрела на него, и мама смотрела, как она смотрит, и ничего не говорила, только пододвинула ей ещё кусок торта.

Девятого, в пятницу, она уехала утренним автобусом.

Мама проводила её до остановки, в пальто поверх халата, и обняла, и опять от неё пахло лавандой, и на этот раз Фейт не напряглась. Просто стояла и терпела запах, как терпят мороз.

— Ты позвони, как доедешь, — сказала мама.

— Позвоню.

— Ты поешь там. В автобусе не ешь. Приедешь — поешь.

— Хорошо.

— Фейти. — Мама держала её за рукав и не отпускала. — Позвони, как доедешь.

Фейт посмотрела на неё.

— Позвоню, — сказала она.

* * *

На обратном пути Солёное озеро было слева.

Фейт пересела. Специально. Водитель покосился в зеркало, когда она переходила через проход, но ничего не сказал. Она села у левого окна и, когда вода открылась, достала телефон.

Он ответил после первого гудка. Он всегда отвечал после первого.

— Вы где? — спросил он.

— Солёное озеро. Вода слева.

— Вы пересели.

— Пересела.

Он помолчал. Она смотрела на воду: серая, плоская, лёд у берега стал тоньше, чем два дня назад, потемнел, и на нём сидели чайки.

— Гленн, — сказала она. Она в первый раз назвала его по имени, просто по имени, без «мистер Саммерс», и он, наверное, это заметил, потому что на том конце стало совсем тихо. — Давай не будем проверять.

— Что проверять?

— Ничего. Веер. Ветки. Кто прислал. Что там дальше. — Она прижалась лбом к холодному стеклу. — Давай не будем смотреть. Ты не будешь, я не буду. Никто не будет. Давай просто...

Она не знала, как закончить. «Просто жить» — это было из рекламы. «Просто попробуем» — это было из сериала. Она не знала, как говорят такие вещи люди, которые не смотрят сериалов.

— Давай, — сказал он.

— Ты даже не дослушал.

— Я дослушал.

Трасса повернула, вода стала уходить назад. Чайки на льду поднялись все разом и полетели куда-то к середине, белые на сером.

— Я буду в Солт-Лейк-Сити в час, — сказала Фейт. — Можно я к тебе приеду?

— Можно, — сказал он. — Я плов сделаю.

— Ты умеешь плов?

— Я умею мыть рис.

* * *

Она поднялась на третий этаж дома на Эдисон-стрит в половине третьего. Она не была здесь ни разу. Подъезд был старый, двадцатых годов, с высокими потолками и широкими пролётами, с запахом кошек и чьего-то чили. На третьем этаже было две двери. На одной висел детский рисунок, прилепленный скотчем. Другая была выкрашена в тёмно-зелёный, с медным номером, и рядом с ней на стене было нацарапано когда-то давно, кем-то: «J + S». Фейт постояла перед дверью.

Она не знала, что скажет. Она всю дорогу от автовокзала думала, что скажет, и ничего не придумала. Всё, что она придумывала, было из тех же сериалов.

Она позвонила.

За дверью что-то звякнуло, потом послышались шаги, потом щёлкнул замок.

Он открыл. В клетчатом фартуке поверх серой футболки, с мокрыми руками, которые держал на весу, как хирург. С пальцев капало. От него пахло кумином и луком.

— Я третью воду сливаю, — сказал он. — Надо семь.

Фейт стояла на пороге и смотрела на его мокрые руки.

— Я подожду, — сказала она.

Глава 7. Сердце

У него в квартире было семнадцать калькуляторов.

Фейт пересчитала их в первое же утро, в субботу, десятого марта, когда проснулась раньше него и вышла в комнату в его футболке, босиком, по холодному паркету. Калькуляторы стояли на длинной полке над письменным столом, в ряд, по росту, как солдаты на построении. Чёрные, серые, бежевые, с красными цифрами, с зелёными, с жидкокристаллическими. «НР-41С». «ТІ-59». «НР-67» с каким-то карточным считывателем. Ещё десяток без названий, с выцветшими кнопками. Самый маленький был размером со спичечный коробок. Самый большой — с книгу.

Под полкой на столе лежала доска для нард, закрытая, и рядом — лотия, и рядом — стопка бумаги, исписанной формулами, придавленная жёлтым кубиком.

— Я их не коллекционирую, — сказал он из-за спины. Она не слышала, как он встал. — Они сами.

— Сами пришли?

— Сначала отцовский. Вон тот, второй слева. Потом я на барахолке увидел такой же, только сломанный. Починил. Потом ещё. Люди выбрасывают, а они работают. Я не могу, когда работающее выбрасывают.

Он стоял в дверях, в трусах и в носках, лохматый, с отпечатком подушки на щеке, и говорил про калькуляторы так серьёзно, как будто его вызвали в суд давать показания. Фейт засмеялась. Он посмотрел на неё, на свою футболку на ней, на её босые ноги на холодном паркете, — и пошёл за тапками.

Тапки были мужские, огромные, и она ходила в них, шаркая, как старушка.

* * *

Первые недели были такие, что Фейт потом не могла их рассказать даже Дане. Не потому, что стеснялась, — потому что рассказывать было нечего. Ничего не происходило. Она приходила к нему после работы, или он к ней, и они ужинали, и разговаривали, и ложились спать. Утром пили кофе — у него была старая гейзерная кофеварка, которую он чистил после каждого раза зубной щёткой, — и шли на работу, вместе до ларька, потом порознь, потому что в башне у них были разные лифты.

Она узнавала его, как узнают новый город: по мелочам.

Он мыл посуду сразу, никогда не оставлял до утра. Он складывал полотенца вдвое, и когда она сложила вдвое, ничего не сказал, просто потом переложил. Он не умел готовить ничего, кроме плова, яичницы и овсянки, — плову его на первом курсе научил сосед по общежитию, аспирант-химик из Ташкента, и плов был хороший, яичница так себе, гречка всегда немного пригорала. Он не смотрел телевизор и не знал, что такое сериалы, которые все обсуждают. Он читал лотию, «Лотию залива Аляска», «Лотию пролива Пьюджет» и ещё какую-то, японскую, в переводе. Он засыпал мгновенно, на спине, как солдат, и спал неподвижно до будильника, а просыпался за минуту до него, всегда, и выключал его, не дав прозвенеть.

Он мыл рис в семи водах. Это было святое.

— Почему семь? — спросила она в первый раз.

— Потому что после шестой вода ещё мутная. А после седьмой — прозрачная.

— А если после пятой уже прозрачная?

— Так не бывает.

— А если бывает?

Он подумал.

— Тогда я всё равно сделаю семь, — сказал он. — На всякий случай.

Он считал воды вслух. Вполголоса, себе под нос, наклонившись над раковиной: «Раз». Сливал. «Два». Сливал. Фейт сначала думала, что он делает это для неё, в шутку, а потом поняла, что он делает это всегда, даже когда один. Он стоял над раковиной, сутулый, и считал воды, как будто от счёта что-то зависело.

Она узнала, что у него под левой лопаткой родинка, похожая на запятую. Что он боится щекотки до судорог. Что у него не было девушки четыре года, а до этого была одна, Оливия, два года, и она ушла, потому что «с тобой как в библиотеке». Он сказал это спокойно, без обиды: «Она права была. Со мной как в библиотеке». Фейт ничего не ответила. Ей нравились библиотеки.

Она узнала, что он не говорит «случайно». Ни разу, ни про что. Она заметила это в конце марта, когда разбила у него чашку и сказала: «Я случайно», — и он сказал: «Ничего. Это старая», — и поняла, что за три недели ни разу не слышала от него этого слова. Он говорил «так вышло», «не подумал», «рука соскользнула». Но не «случайно». Она спросила. Он пожал плечами: «Не знаю. Не нравится слово». И пошёл за веником.

* * *

Восемнадцатого апреля они поехали к кардиологу.

Она поехала с ним. Он не просил, но и не возражал, когда она сказала, что отпросилась с работы на два часа. Он сказал: «Хорошо», — и больше ничего, и всю дорогу в такси смотрел в окно.

Клиника была частная, на Футхилл-драйв, в новом здании с зеркальными стёклами. В холле стояли белые кресла и фонтанчик с водой, который журчал так навязчиво, что хотелось в туалет. Они ждали двадцать минут, и он сидел, положив руки на колени, ровно, и не доставал кубик. Фейт заметила, что он не достаёт кубик, и от этого ей стало тревожнее, чем если бы доставал.

Доктору Олсен было лет пятьдесят пять. Она была худая, с короткими тёмными волосами и очками на цепочке, и говорила быстро, сухо, с длинными «так-с» между фразами, как будто листала невидимую карту. Кабинет у неё был маленький и тесный, с кушеткой, аппаратом ЭКГ на тележке и плакатом с разрезанным сердцем на стене.

— Так-с, — сказала она, глядя на Фейт. — Вы супруга?

— Нет, — сказала Фейт.

— Подруга, — сказал он.

— Так-с. Подруга может остаться, если пациент не против. Раздевайтесь до пояса, ложитесь.

Он разделся до пояса и лёг. Доктор Олсен наклеила ему на грудь липкие кружочки электродов, на запястья и щиколотки надела прищепки. Он лежал и смотрел в потолок. Фейт сидела на стуле в углу и смотрела на его грудь, на рёбра, на родинку-запятую, которую отсюда видно не было, но она знала, что она там, под лопаткой, на спине, прижатой к кушетке. Аппарат зажужжал, и из него поползла розовая лента с зелёными зубцами.

Доктор Олсен оторвала ленту, посмотрела, поднесла ближе к очкам.

— Так-с, — сказала она. — Синусовый ритм, семьдесят два. Ось нормальная. Интервалы в норме. Сегмент ST... — Она помолчала, разглядывая. — В норме. Одевайтесь.

Фейт отпустила ремень сумки.

— Норма? — спросила она.

— ЭКГ в покое в норме, — сказала доктор Олсен. — Это не одно и то же. — Она села за стол, открыла карту на экране. — Так-с. Жалобы есть? Обмороки? Сердцебиение? Ночью бывает, что просыпаетесь, как будто воздуха не хватает?

— Нет, — сказал он, застёгивая рубашку. — Ничего.

— Семейный анамнез. Кто-нибудь в семье умирал внезапно? До пятидесяти?

Он застегнул последнюю пуговицу. Не ту — пропустил одну, и рубашка села криво, воротник поехал. Фейт видела это и не сказала.

— Отец, — сказал он. — В сорок один. На волейболе. Вскрытие ничего не показало.

Доктор Олсен подняла голову от экрана и посмотрела на него поверх очков. Долго.

— Так-с, — сказала она. — А вот это уже интересно. — Она сняла очки, дала им повиснуть на цепочке. — Понимаете, что значит «вскрытие ничего не показало»?

— Что сердце было здоровое.

— Что сердце было здоровое на вид. Мышца нормальная, сосуды нормальные, клапаны. А оно остановилось. Это значит — проводка. Электрика. — Она постучала пальцем по столу. — Есть такая группа синдромов, каналопатии. На вскрытии их не видно, потому что там нечего видеть: всё дело в том, как ионы проходят через мембрану клетки. Удлиненный QT, синдром Бругада, ещё пара. Наследуются. Если у отца было — у сына пятьдесят на пятьдесят.

— Пятьдесят на пятьдесят, — повторил он.

— Примерно. Для аутосомно-доминантных. — Она посмотрела на ленту ЭКГ, которая лежала на столе. — Бругада, например, часто прячется. Паттерн на ЭКГ то есть, то нет. У многих в покое — норма. Как у вас.

— Какая вероятность, — спросил он, — что ЭКГ в покое пропустит?

Доктор Олсен посмотрела на него с интересом.

— Вы кем работаете?

— Инженером.

— Видно. — Она снова надела очки. — Если у вас Бругада — спонтанный паттерн на обычной ЭКГ видят примерно у трети. Может, меньше. Остальных ловят пробой. Вводят препарат, аймалин, в стационаре, под мониторингом, и смотрим, что делает сердце. Если синдром есть — препарат его выявляет. Плюс генетика: панель, анализ крови, смотрят гены. SCN5A и другие. Это дорого и долго, но это ответ.

— А если найдут?

— Если найдут, будем решать. Иногда — ничего, просто наблюдение. Иногда — таблетки. Если риск высокий — кардиовертер-дефибриллятор. Маленькая коробочка под ключицей. Если сердце остановится, она его запустит. Живут с ним нормально. Летают, работают, детей рожают. — Она посмотрела на Фейт. — Ну, не они, конечно. Жёны.

Фейт почувствовала, что краснеет. Доктор Олсен этого не заметила или сделала вид.

— Так-с, — сказала она. — Я вам пишу: холтер на сутки, эхокардиография, направление на пробу с аймалином в кардиоцентр, и консультация генетика. Начните с холтера и эхо, это можно здесь. Пробу и генетику — в кардиоцентре, там очередь, запишитесь сразу. — Она нажала «печать». Принтер зашуршал. — Вопросы?

— Нет, — сказал он.

— Есть, — сказала Фейт. — А если ничего не делать?

Доктор Олсен посмотрела на неё.

— Если ничего не делать, — сказала она, — то ничего не узнаете. Может быть, проживёт до девяноста. Может быть, нет. Отец не знал. — Она протянула ему распечатку. — Мой совет — узнать.

* * *

На улице было тепло, по-настоящему весеннее, и на Футхилл-драйв цвели вишни, розовые, пышные, над машинами. Он шёл к остановке быстро, Фейт едва поспевала.

— Гленн.

— Да.

— Ты запишешься? В кардиоцентр?

Он остановился. Посмотрел на распечатку в руке. Сложил её вдвое, потом ещё вдвое, аккуратно, углами к углам.

— Холтер сделаю, — сказал он. — И эхо.

— А пробу?

— Нет.

— А генетику?

— Нет.

Фейт смотрела на него. Вишни сыпали лепестки на тротуар, на машины, ему на плечи.

— Почему?

Он долго не отвечал. Мимо проехал автобус, обдал их тёплым воздухом.

— Я не хочу жить в кардиологии, — сказал он.

— Что это значит?

— Это значит — если найдут, я буду с этим жить. Каждый день. Каждое утро я буду просыпаться и думать: сегодня? Буду считать пульс. Буду бояться подниматься по лестнице. Буду каждый раз, когда кольнёт, думать: вот. Я так не хочу. — Он посмотрел на неё. — Это как твоя мама с папкой.

Фейт замерла.

Это было нечестно. Она рассказала ему про папку на Хидден-Пик, на ветру, над утонувшим городом, — рассказала то, чего никому не рассказывала. И он взял это и положил сейчас на тротуар между ними, как камень.

— Не смей, — сказала она тихо.

— Я не хотел...

— Не смей сравнивать. Мама жила по бумажке, которую ей продали. А это — врач. Это анализ. Это не прогноз, это наоборот. Это чтобы не жить по бумажке.

— Я знаю.

— Ты знаешь? Ты знаешь, что у тебя в веере написано «внезапная сердечная смерть»? Ты знаешь, что у тебя отец упал на волейболе? Ты знаешь, что пятьдесят на пятьдесят? И ты не хочешь проверить?

— Я проверил, — сказал он. — ЭКГ нормальная.

— Так. — Фейт остановилась посреди тротуара. — Так. Ты проверил то, что ничего не найдёт! Она же сказала — у трети!

Прохожие обернулись. Фейт понизила голос.

— Ты обещал, — сказала она.

— Я обещал проверить.

— Ты знаешь, что я имела в виду.

Он молчал. Он стоял под вишней, с распечаткой, сложенной в маленький тугой квадратик, и молчал, и лицо у него было без звука, совсем, как никогда раньше, и Фейт впервые подумала, что это молчание может быть стеной.

— Поехали домой, — сказал он наконец. — Я плов сделаю.

— Я не хочу плов!

Она развернулась и пошла вниз по Футхилл-драйв, прочь от остановки, куда глаза глядят. Он её не догнал. Она дошла до Девятой Южной, потом до Стейт-стрит, потом поймала такси и поехала к себе, на Ферн-стрит, на пятый этаж без лифта, и сидела там под фикусом до ночи, и он не звонил.

* * *

Дана выслушала её в пивной на Мейн-стрит, не перебивая, что для Даны было подвигом. Мандарин лежал на столе. Хоккея не было — по телевизору без звука показывали футбол.

— Мужики, — сказала Дана, когда Фейт закончила. — Знаешь, сколько у меня таких на аппарате лежало? Которые «не хотели жить в больнице»? Половина. Они не хотят жить в больнице, поэтому потом живут в реанимации. Неделю. Потом не живут.

— Дана.

— Что «Дана»? Я тебе правду говорю. Ты хотела правду — вот. — Дана отпила пива. — Он инженер?

— Да.

— Цифры любит?

— Да.

— Пятьдесят на пятьдесят — это он слышал?

— Слышал. Повторил.

Дана задумалась.

— Странно, — сказала она. — Обычно цифровые мужики, наоборот, бегут обследоваться. Им надо знать. Им неизвестность хуже. Они на всё анализы сдают, даже на то, чего не бывает. — Она покатила мандарин по столу. — Знаешь что. Познакомь меня с ним.

— Зачем?

— Посмотреть хочу.

* * *

Через неделю они встретились втроём, там же, на Мейн-стрит.

Фейт с утра нервничала. Она помирилась с ним через два дня после клиники: он пришёл к ней вечером, с пакетом из магазина, в котором были молоко, хлеб и лампочка — «на всякий случай, запасная», — и они не говорили о кардиологии, вообще, ни слова. Сказал он только одно, уже в дверях, уходя: «Холтер — в среду». И правда — в среду он пришёл с маленькой коробочкой на ремне и проводами под рубашкой, и проносил её сутки, и спал с ней. Эхо сделали в пятницу. Пробу и генетику он не упоминал. Она тоже.

Дана пришла вовремя, что было неслыханно, и смотрела на него весь вечер, как смотрела, наверное, на снимки.

Она задавала вопросы. Прямые, грубые, в лоб: сколько зарабатываешь, сколько пьёшь, куришь, почему один, что с отцом, что с матерью. Он отвечал. Коротко, точно, без обиды, как отвечал доктору Олсен. Зарабатываю нормально. Пью мало. Не курю. Один — так вышло. Отец — сердце. Мать — в Грейт-Фолс, второй брак, созваниваемся. Дана кивала и пила. Фейт сидела между ними, как на допросе, и молчала.

Потом Дана сказала:

— Слушай сюда, mijo. Я реаниматолог. Я тебе скажу как реаниматолог. У меня в отделении каждый месяц один-два таких, как твой отец. Молодые. Упал на футболе, упал в спортзале, упал в автобусе. Привозят — и всё, ничего не сделаешь, потому что двадцать минут ехали. Если бы у них стояла коробочка — они бы не ко мне ехали, а домой. Пробу сделай.

Он посмотрел на неё.

— Я подумаю, — сказал он.

— Ты уже подумал. Я вижу, что подумал. Ты подумал «нет».

— Да, — сказал он. — Я подумал «нет».

Дана откинулась на спинку стула.

— Почему?

Он помолчал. Взял со стола её мандарин, покрутил в пальцах, как кубик, и положил обратно.

— Я обещаю — через год, — сказал он, глядя не на Дану, а на Фейт. — Через год сделаю. Всё. Пробу, генетику, что скажут.

— Почему через год? — спросила Фейт.

— Мне надо год, — сказал он. — Просто год. Пожалуйста.

Фейт смотрела на него. Он смотрел на неё. Футболисты на экране без звука забили гол и бегали, раскинув руки, как самолёты.

— Хорошо, — сказала Фейт. — Через год.

* * *

Потом, на улице, когда он ушёл за такси, Дана взяла Фейт за локоть.

— Он не больниц боится, — сказала она.

— А чего?

Дана подумала. Курила, щурилась на фонарь.

— Не знаю, — сказала она. — Чего-то другого. Я таких видела. Которые боятся не умереть, а чего-то... что-то потерять. Не жизнь. Что-то ещё. — Она бросила сигарету, растёрла ногой. — Он тебя любит, это видно. Он на тебя смотрит, как на монитор, когда там ритм восстанавливается. Но он чего-то боится. И это не больница.

— А что?

— Я реаниматолог, Фейт, а не ты. Это ты у нас по головам. — Дана достала из кармана мандарин, посмотрела на него и положила обратно. — Ты и разбирайся.

* * *

Холтер был в норме, эхо было в норме. Доктор Олсен написала в заключении: «Структурной патологии не выявлено. Рекомендовано: проба с аймалином, консультация генетика». Он прочитал, сложил вчетверо и убрал в ящик стола, под лоцию.

Вечером того дня он мыл рис. Фейт стояла рядом, прислонившись к холодильнику, и смотрела, как он наклоняется над раковиной, сутулый, и слушала, как он считает.

— Раз.

Вода, мутная, белая, ушла в слив.

— Два.

Она хотела что-то сказать и не знала что.

— Три.

Она подумала о маме, сидящей на полу у шкафа. О голубой папке. О том, что он сказал под вишней, и что это было нечестно, и что в этом была какая-то правда, которую она не хотела видеть.

— Четыре.

— Гленн, — сказала она.

— Пять, — сказал он. — Да?

— Ничего.

— Шесть.

Вода была уже почти прозрачная. Почти. В ней ещё плавала белёсая дымка, тонкая, как дыхание на стекле.

— Семь.

Он слил седьмую воду. Рис лежал в миске, белый, чистый, каждое зёрнышко отдельно. Он посмотрел на него, кивнул, сам себе, и выпрямился.

Фейт достала телефон, открыла календарь, пролистала вперёд, до апреля сорок первого года. Апрель сорок первого был пустой, белый, как вода после седьмого раза. Она выбрала восемнадцатое — ровно год от клиники — и написала: «Через год».

Потом подумала, стёрла и написала: «Гленн. Через год. Обещал».

Потом стёрла «обещал».

Потом оставила.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕЕР

СЛЕД № 9

Веер: СГА-2008. Ветвь: 7-Г.

Тип: фотоизображение (облачное хранилище, частный аккаунт).

Описание: двое на берегу горного озера, мужчина и женщина. У женщины в руках красный термос. На заднем плане — вершина со снегом.

Геометка: озеро Блани. Дата съёмки: 12.10.2040.

Достоверность: 0,58.

Глава 8. Красный термос

Она переехала к нему в июле, после своего дня рождения.

Ей исполнилось тридцать. Она боялась этой цифры года два, как бояться её все, кому за двадцать восемь, — без причины, просто потому, что круглая. Утром первого июля она проснулась на Эдисон-стрит, в его постели, от запаха кофе и чего-то горелого, и вышла на кухню в его огромных тапках. На столе стояла большая чёрная чугунная кастрюля с крышкой, тяжёлая, как гиря, с бантом из бечёвки на ручке. Рядом лежала распечатка на трёх листах, мелким шрифтом.

— Это что?

— Голландская печь, — сказал он. Он стоял у плиты, спиной, и отскребал что-то со сковородки. — Так называется. Для хлеба. Я прочитал, что дома хлеб не поднимается, потому что духовка не держит пар. А в чугуне пар держится. Хлеб сам себе делает пар. — Он обернулся. — Там инструкция. Я пересчитал из чашек в граммы. Чашки — это погрешность.

Фейт смотрела на кастрюлю, потом на распечатку, три листа: он переписал три листа про хлеб и пересчитал всё в граммы.

— А что горит? — спросила она.

— Панкейки. Я хотел сделать панкейки. — Он посмотрел на сковородку. — Панкейки не получились.

В воскресенье она испекла хлеб в чугуне, по его граммам, и хлеб поднялся и лопнул сверху ровной трещиной, похожей на улыбку, как на обложке той книги, и корочка была тёмная, хрустящая, и когда она постучала по доньшку, он ответил глухо, как полагается. Она разрезала его. Внутри не было сырого комка. Внутри был хлеб.

Она стояла над ним с ножом и не знала, что чувствует. Она радовалась и была почти разочарована. Три года хлеб не получался, и это было её, единственное, во что она упрямо верила без всяких гарантий, — и вот он пришёл с чугунной кастрюлей и тремя листами граммов, и хлеб получился, и упрямитесь стало не во что.

— Вкусно, — сказал он с набитым ртом.

— Вкусно, — сказала она.

Она пекла теперь каждое воскресенье, и хлеб получался почти всегда. Когда не получался, она радовалась тоже, тихо, про себя.

* * *

Переезд занял два дня и одну поездку на его машине.

Машина у него была старая белая «королла», две тысячи двадцать третьего года, которую он купил подержанной и берёг, как последний автомобиль на земле. Он мыл её каждую субботу

и не парковал под деревьями — птицы, смола, — и у бордюров — бордюры, диски. Когда в июне какой-то подросток на самокате задел её дверь и оставил на белой краске тонкую серую царапину длиной в ладонь, он два дня ходил мрачный, а на третий сказал за ужином:

— Её теперь угонят.

— Почему?

— Царапина. Значит, машина уже не новая на вид. Значит, хозяин за ней плохо смотрит. Значит, можно. Угонщики так рассуждают.

— Гленн. Ей семнадцать лет.

— Ну и что.

— Никто не угонит «короллу» двадцать третьего года из-за царапины.

Он подумал.

— Угонят, — сказал он. — Я читал статистику.

Фейт не стала спорить. Она сфотографировала царапину и отправила Дане с подписью «причина угона». Дана ответила тремя смеющимися рожицами и словом «инженеры». Царапину он закрасил через неделю, специальным карандашом, так что её почти не стало видно. Машину никто не угнал.

Вещей у Фейт оказалось мало. Одежда, книги, ноутбук, косметика, кастрюли, которые были ей не нужны, потому что у него были свои. Пианино и фикус остались у хозяйки. Фикус она поливала напоследок долго, впрок.

Последним из квартиры на Ферн-стрит она забрала лист.

Она открыла пианино — в последний раз, — и просунула руку между струнами, и достала его с деревянной планки. Пыли на нём стало больше, и струна загудела, как всегда, и Фейт постояла, слушая, пока не затихло.

У Гленна она положила лист в книгу. В ту самую — «Хлеб своими руками», с румяным караваем на обложке, которую она привезла с собой и поставила на свою полку, единственную полку в его квартире, которую он для неё освободил. Лист лёг между страницами про ржаную закваску. Она закрыла книгу и поставила её на полку корешком наружу.

Он видел. Он стоял в дверях комнаты с коробкой в руках и видел, как она открывает книгу и кладёт туда лист. Он ничего не сказал. Она тоже.

Про лист они не говорили с весны. Они договорились не проверять, и не проверяли. Иногда Фейт думала о нём — когда видела у Гленна в ящике стола сложенное вчетверо заключение доктора Олсен, когда слышала, как он поднимается по лестнице, не запыхавшись, когда он засыпал, и она лежала рядом и слушала его сердце, прижавшись ухом к его спине, к родинке-запятой. Сердце билось ровно. Она считала. Семьдесят два. Как на ЭКГ.

Она никогда не говорила ему, что считает.

* * *

Одиннадцатого октября, в четверг, она купила термос.

Это было глупо. У них был термос — его, стальной, серый, с вмятиной на боку, тот самый, с которым он приехал к ней в новогоднюю ночь. Термос был хороший, держал тепло сутки. Но у него отваливалась крышка-чашка, и прокладка пропускала, и в сумке всегда оставалось мокрое пятно. Фейт зашла в спортивный магазин на Стейт-стрит за кроссовками, кроссовок своего размера не нашла и пошла к выходу мимо полки с термосами.

Они стояли рядами, разноцветные, блестящие. Синие, зелёные, чёрные, серебристые. И один красный. Тёмный, винный, с матовым боком, как спелая вишня. Двадцать пять унций. Она взяла его в руки. Он был лёгкий, гладкий, тёплый на ощупь, хотя внутри ничего не было.

Она купила его, сама не зная зачем. Он стоил дороже, чем кроссовки, которых она не нашла.

— Зачем? — спросил Гленн вечером, когда она поставила термос на стол. — У нас есть.
— Цвет понравился.

Он посмотрел на термос долго. Фейт подумала, что он сейчас скажет что-нибудь про погрешность, про то, что новый термос — это лишняя вещь, что старый ещё послужит. Он ничего такого не сказал. Он взял термос, повертел в руках, открыл, понюхал, закрыл.

— Красивый, — сказал он. — Возьмём завтра.

— Куда?

— На озеро.

Они собирались на озеро с сентября. Всё откладывали — то работа, то погода, то у Гленна машина «стучала», хотя ничего не стучало. На двенадцатое, пятницу, они оба взяли отгул. Фейт взяла отгул легко, доктор Брандт подписал не глядя. Гленн — тоже легко, сказал он. Впрочем, он всегда говорил «легко».

* * *

Выехали они в семь утра.

Город ещё спал, улицы были пустые, синие. Смога пока не было: в октябре он только собирался, висел над горизонтом тонкой бурой полоской, как грязь по краю стакана. Они проехали по Саут-Темпл, свернули в каньон Биг-Коттонвуд, мимо будки на въезде, где сонный рейнджер взял с них деньги за парковку и выдал квиток. Дорога пошла вверх, вдоль реки, серпантинном, до парковки у начала тропы.

Он вёл машину медленно, очень медленно, двадцать пять миль в час на прямых, пятнадцать на поворотах, и их обгоняли все: внедорожники, туристические микроавтобусы, один раз — велосипедист. Велосипедист обогнал их на подъёме, привстав на педалях, и помахал рукой.

— Нас велосипед обогнал, — сказала Фейт.

— Он один. А нас двое.

— При чём тут это?

— Ни при чём, — сказал он. — Просто нас двое.

Она смотрела в окно на склоны, жёлто-рыжие, осенние, с тёмными свечками голубых елей. Река внизу шумела, белая на камнях. Выше по склонам лежал снег — первый, свежий, выпавший позавчера. Солнце вышло из-за хребта, и снег на вершинах загорелся розовым, потом белым.

— Гленн.

— Да.

— Ты всегда так медленно в горах?

— Всегда. — Он смотрел на дорогу. — Тут камнепады. Тут, видишь, сетка на склоне. Это от камней. Если едешь медленно, успеваешь увидеть.

— А если быстро — проскочишь.

— Можно и так. — Он подумал. — Но я не знаю заранее, где упадёт.

* * *

Дальше шли пешком. Тропа поднималась от парковки через осинник, потом по камням, почти три мили, и Гленн нёс рюкзак с термосом и шёл впереди, медленно, так же, как ехал, и через каждые полчаса оборачивался и спрашивал, не устала ли она. Она устала на второй миле и не сказала. Озеро открылось сразу, за последним каменным уступом, и Фейт сказала «ой» вслух, как маленькая, хотя дышала так, что «ой» вышло наполовину.

Она видела его на фотографиях тысячу раз. Все видели: зелёно-синее, ненатуральное, в чаше красных скал, с белыми вершинами над ним. На фотографиях оно казалось подкрашен-

ным. В жизни оно было темнее и ярче сразу. В октябре вода стояла низко, и вдоль берега тянулась полоса серых камней, светлых, сухих, — а дальше начинался цвет, густой, бутылочный. Над ним — горы. Пик Сандайл, сказал он, вон тот, белый, слева. И Дромедари. И ещё какие-то, названия которых он знал, а она не запомнила.

Было холодно, ветер шёл со снежников наверху, ровный, жёсткий, и Фейт застегнула куртку до подбородка и натянула шапку на уши.

Купаться в озере было нельзя — каньон был водосборным, из него пил город, и об этом предупреждала табличка у тропы. На камнях над озером никого не было, кроме них и одной пары — парень с девушкой, молодые, в одинаковых оранжевых куртках, фотографировали друг друга по очереди на телефон.

Они сели на камни. Фейт достала из рюкзака красный термос. Налила в крышку чай — чёрный, сладкий, его рецепт, она уже привыкла, — отпила, передала ему. Чай был горячий. Ветер срывал пар с крышки и уносил к озеру.

Камень под ней был холодный даже через одежду, шершавый, в рыжих пятнах лишайника, и в трещине у самой её ноги лежал нерастаявший снег, серый, зернистый, похожий на крупную соль. Вода у берега была прозрачная, и сквозь неё видно было дно — камни, такие же серые, как на суше, только темнее и глаже, — а дальше прозрачность кончалась и начинался цвет. Ветер то стихал, то налетал снова, и тогда по озеру бежала мелкая рябь, от дальнего берега к ближнему, и бирюза под ней темнела полосами. Когда Гленн вернул ей крышку, Фейт взяла её обеими руками, грея ладони, и подула на чай, и пар ушёл в сторону, к воде, и пропал раньше, чем долетел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.